

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ
ГОФМАН

*Житейские воззрения
кота Мурра*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Эрнст Гофман

Житейские воззрения кота Мурра

«Азбука-Аттикус»

1819

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Гофман Э. Т.

Житейские воззрения кота Мурра / Э. Т. Гофман — «Азбука-Аттикус», 1819 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-22550-3

«Житейские воззрения кота Мурра» — последний роман великого немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана, блистательный итог его творчества, соединившего реальность и фантазию, романтический порыв и едкую сатиру. Это удивительное произведение, которое сам Гофман считал лучшим из своих романов, представляет собой записки ученого кота, прагматика и эпикурейца Мурра, местами переложенные случайно попавшими в рукопись листами из биографии «безумного капельмейстера» Крейсlera, энтузиаста-мечтателя, неисправимого романтика и alter ego самого Гофмана. По признанию автора, у Мурра был прототип: «Это кот дивной красоты и еще большего ума, которого я воспитал, он-то и дал мне повод к той забавной мистификации, которой пронизана эта, собственно говоря, серьезная весьма книга».

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-22550-3

© Гофман Э. Т., 1819
© Азбука-Аттикус, 1819

Содержание

Предисловие издателя	6
Предисловие автора	8
Предисловие автора, для печати не предназначенное	9
Примечание	10
Том первый	11
Раздел первый	11
Раздел второй	66
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Житейские воззрения кота Мурра

© А. Големба (наследники), перевод, 1972

© Н. Ф. Роговская, комментарии, 2013

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Оформление обложки Татьяны Павловой

Во внутреннем оформлении книги использованы материалы © iStock / Getty Images Plus / Gil-Design

Подбор иллюстраций Екатерины Мишиной

* * *



Предисловие издателя

Едва ли есть на свете книга, которая нуждается в предисловии больше, чем эта, ибо следует все-таки объяснить, почему она выходит в свет в таком запутанном и странном виде.

Посему издатель умоляет благосклонного читателя во что бы то ни стало прочесть это предисловие.

У вышесказанного издателя есть один приятель, которого можно назвать в полном смысле этого слова закадычным, и каждый из нас знает своего друга буквально как себя самого. И вот этот друг сказал однажды издателю примерно следующее:

«Так как ты, дорогой мой, уже напечатал несколько книг и привык иметь дело с книгопродавцами, то тебе нетрудно будет отыскать среди этих милых господ такого, который по твоей просьбе возьмет на себя труд напечатать нечто, сочиненное одним молодым автором, обладателем блистательного таланта и прочих великолепных качеств. Удостой его своим покровительством, так как он, право, заслуживает этого».

Издатель пообещал сделать все, что только в его силах, для коллеги-литератора. Впрочем, он был весьма и весьма удивлен, когда его друг признался ему, что рукопись сия вышла из-под пера некоего кота, отзывающегося на кличку Мурр, и что в манускрипте этом изложены житейские воззрения этого кота; однако ничего не поделаешь, слово было дано, и так как вводные страницы показались ему написанными вполне сносно, то он тотчас побежал с манускриптом в кармане к господину Дюмmlеру на Унтер ден Линден и предложил ему издать кошачье произведение.

Господин Дюмmlер высказался в том смысле, что, по правде говоря, до сего времени среди его авторов не было котов и что ему вообще неизвестно, чтобы кто-нибудь из его дражайших коллег когда-либо имел дело с авторами, принадлежащими к этой породе, но, впрочем, – отчего бы и не попробовать.

Книга пошла в печать, и вскоре к издателю пришли на просмотр первые оттиски набранных страниц. Представьте себе, однако, до чего испуган был издатель, когда убедился, что история Мурра прерывается во многих местах и перемежается с какими-то иными эпизодами, с фрагментами совершенно иной книги, содержащей повествование о жизни капельмейстера Иоганнеса Крейсlera.

После тщательного расследования обнаружилось следующее: когда кот Мурр принялся излагать свои житейские воззрения, то он без долгих разговоров растерзал уже напечатанную книгу, которую нашел у своего хозяина, и попросту употребил часть ее листов вместо закладок, а другую часть – в качестве своего рода промокательной бумаги. Эти листы, однако, по недосмотру остались в рукописи и пошли в печать как составляющие с ней единое целое!

Издатель смиренно и с грустью признается, что пестрая смесь чужеродных материалов, к великому сожалению, вызвана к жизни его собственным легкомыслием, поскольку ему следовало внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отправлять ее в печать. Но все-таки у него остается некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко найдет выход из создавшегося положения, если примет во внимание замечания в скобках: *Мак. л.* («макулатурный лист») и *Мурр пр.* («Мурр продолжает») – да к тому же еще вспомнит, что, по всей вероятности, книга, растерзанная котом, так и не поступила в продажу, – во всяком случае, никто решительно ничего не знает о ее судьбе. По крайней мере, друзьям капельмейстера будет весьма приятно, хотя бы даже вследствие литературного вандализма кота, получить некоторые сведения о престранных жизненных обстоятельствах человека в своем роде весьма и весьма достопримечательного.

Издатель надеется, что его милостиво простят.

Наконец, разве не правда, что порой авторы обязаны экстравагантностью своего стиля благосклонным наборщикам, которые споспешествуют вдохновенному приливу идей своими так называемыми опечатками? Так, например, издатель во второй части своих «Ночных рассказов» на с. 326 говорит о пространных *боскетах*, расположенных в некоем саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным, и он превратил поэтому слово «боскеты» в «кас-кетки».

А вот, например, в рассказе «Мадемуазель де Скюдери»¹ хитроумный наборщик заставил вышеупомянутую мадемуазель, вместо того чтобы явиться в черном – тяжелого шелка – «платье», – явиться в черном – тяжелого шелка – «салате» и т. д.

Впрочем, каждому свое! Ни кот Мурр, ни оставшийся неизвестным биограф капельмейстера Крейсера отнюдь не нуждаются в том, чтобы рядиться в чужие перья, и издатель умоляет поэтому благосклонного читателя – более того, настоятельно просит его, прежде чем прочесть эту книжицу, внести в текст некоторые исправления, дабы ему не пришлось думать об обоих авторах лучше или хуже, чем они того заслуживают.

Правда, здесь отмечены лишь главные опечатки; что же касается остальных, то тут мы уповаем на снисходительность нашего благосклонного читателя.

<i>страница</i>	<i>строка</i>	<i>напечатано</i>	<i>следует читать</i>
21	17	веселый	невесомый
23	4	задушевный	задушенный
23	21	имя	моими
29	6	пудинг	пудель
80	20	мышь	лишь
80	24	мой	твой
81	6	новинок	невинных
81	8	методичный	медоточивый
92	5	ватный	важный
107	13	эвфония	какофония
132	3	ухо	эхо
160	13	ощениться	очевидца
160	19	пеликаном	деликатно
166	6	проспектом	прозектор

В заключение издатель считает своим долгом заверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел его чрезвычайно приятным молодым человеком, пресимпатичным и благовоспитанным. Портрет его, открывающий эту книгу, отличается необыкновенным сходством.

Берлин, ноябрь 1819
Э. Т. А. Гофман

¹ Карманный альманах для приятного времяпрепровождения в светском обществе. Изд. Гледича, 1820.

Предисловие автора

Робко – с трепетом в груди – передаю я свету кое-какие страницы моей жизни, страницы моих страданий, моих упований, моей тоски, которые в сладостные праздные часы, в часы поэтических вдохновений вылились из недр души моей.

Устою ли я, смогу ли устоять перед строгим судом критики? Но ведь именно для вас, о чувствительные души, для ваших по-детски чистых сердец, для вас, родственных мне прямодушных и верных натур, писал я эти строки, и одна-единственная чудная слеза, пролившаяся из ваших очей, утешит меня, исцелит мои раны, нанесенные мне холодными порицаниями, ледяными укорами бесчувственных рецензентов!

Берлин, май (18—)

Мурр (Etudiant en belles lettres)²

² Начинающий литератор (фр.).

Предисловие автора, для печати не предназначенное

С уверенностью и спокойствием, неотъемлемо присущим истинному гению, передаю я свету мою биографию, дабы свет научился тому, как можно стать воистину великим котом, дабы свет признал, до чего я великолепен, и стал бы меня любить, ценить, почитать и даже благоговеть передо мной.

Ежели бы отыскался кто-нибудь, кто решился бы хоть немного усомниться в неоспоримых достоинствах этой из ряда вон выходящей книги, то пусть он не упускает из виду, что имеет дело с котом, обладающим острым рассудком, острым разумом и не менее острыми когтями.

Берлин, май (18—)

Мурр (Homme de lettres très renommé)³

³ Весьма прославленный сочинитель (*фр.*).

Примечание

Вот так история! – Даже предисловие автора, которое отнюдь не предназначалось для печати, взяли и тиснули, как ни в чем не бывало!

Увы, мне больше ничего не остается, кроме того чтобы просить благосклонного читателя извинить коту-сочинителю уж слишком заносчивый тон этого предисловия и по возможности принять во внимание, что ежели вникнуть в самоуничижительные выражения, коими изобилуют предисловия иных стеснительных авторов, тщательно скрывающих свое самомнение, то они не столь уж разительно будут отличаться от предисловия нашего зазнавшегося котика.

Издатель

Том первый



Раздел первый Ощущения бытия. Месяцы младости

Есть все-таки в нашей жизни нечто необычайно красивое, великолепное и возвышенное! «О ты, сладчайший навык бытия!» – восклицает пресловутый героический нидерландец в общеизвестной трагедии. Вот так и я, однако не в мгновение горестного расставания с юдолью сей, как вышеупомянутый герой, а, совершенно напротив, в тот самый миг, когда меня всего, с головы до пят, пронизывает отраднейшая мысль, что наконец-то этот сладчайший навык бытия вполне пришелся мне по душе, я внезапно ощутил, что бытие, что земное существование вполне пришлось мне впору и, стало быть, мне решительно неохота когда бы то ни было расставаться с дольным миром!

Итак, я полагаю, что та духовная сила, та неведомая мощь, или как там еще именуют распоряжающуюся нашими судьбами первопричину, – одним словом, та неведомая мощь, которая, в известном роде, навязала мне, без моего на то согласия, вышеупомянутый навык, едва ли имела при этом намерения более мрачные, чем тот премилый и преблагодушный добрячок, к коему я пошел в услужение и который никогда не вырывает у меня из-под носа – подsunутую им же – миску с жареной рыбой, в тот самый миг, когда я, вполне уже войдя во вкус, с отменным удовольствием уписываю оную рыбу.

О природа, священная и величественная природа! С какою силою наполняют мою взволнованную грудь все твоё очарование и весь твой трепет жизни, – сколь таинственно овевает меня шелестящее твоё дыхание! Ночь несколько прохладна, и мне хотелось бы... но каждый – читающий ли или же вовсе не читающий сии строки, увы, не сможет постичь все могущество высочайшего моего воодушевления, ибо ему, читателю, или же любому другому человеку не может быть известно, какой высочайшей точки я достиг, в какие заоблачные выси я воспарил, взлетел и взмыл! – Собственно говоря, правильнее было сказать – вполз и влез, – но ведь ни один поэт на свете не считает возможным говорить о ногах своих, даже ежели он четвероног, как я, грешный; стихотворцы предпочитают упоминать о своих крыльях, даже ежели оные крылья отнюдь не дарованы им природой, а являют собой лишь хитроумное приспособление, сооруженное толковым и расторопным механиком. Надо мною небосвод: бездонный звездный купол, весь в замороженно мерцающих лучах полной луны; в серебристо-огненном

сиянии высятся вокруг меня крутые крыши и башни. Все больше и больше стихает уличный гомон, все тише и тише становится ночь, – надо мною проплывают облака, – одинокая голубка, воркуя и как бы испуская страстные стоны, порхает вокруг колокольни! – Ах! – что, если бы эта прелестная малютка решилась приблизиться ко мне? – Во мне явно растет и ширится некое, неведомое мне прежде, волшебное чувство, некое восхитительное сочетание мечты и аппетита пронизывает все мое существо с непреодолимой силой! О, ежели бы невинная горлица сия приблизилась ко мне – я прижал бы ее крепко-накрепко к моему уязвленному любовью сердцу и никогда, никогда не отпускал бы ее больше! Ах, изменница, она возвращается в голубятню и покидает меня, сидящего на крыше, в полнейшей безнадежности! Увы, до чего же редка в наши скудные, закоснелые, безлюбвные времена истинная симпатия душ!

Так неужели же прямохождение на двух ногах является чем-то настолько величественным, что некий род, именующий себя человеческим, вправе присвоить себе господство над нами всеми, разгуливающими на четвереньках, но зато с куда более развитым чувством равновесия? Впрочем, я знаю, они, человеки, воображают, что сии особые права дает им нечто великое, якобы угнездившееся у них в голове, а именно то, что они называют *разумом*. Я не в силах составить себе точное представление о том, что они, собственно, под этим подразумевают, однако же вполне уверен в том, что, как я могу заключить из кое-каких замечаний моего хозяина и покровителя, разум – это всего лишь способность действовать обдуманно и сознательно, не вытворяя глупостей, – ну да что там – ведь по части благоразумия и осмотрительности я ни одному человеку решительно не уступлю! – Вообще, я полагаю, что сознание есть дело привычки; все мы вступаем в жизнь и скитаемся затем по оной – сами не ведая как. Во всяком случае, именно так обстояло дело со мной, и, как я полагаю, на всей земле не сыщется ни одного человека, который бы по собственному опыту знал – *как* и *где* он рожден; все, что он знает на этот счет, основано на традиции, которая к тому же еще сплошь и рядом бывает весьма и весьма недостоверной. Города спорят друг с другом о том, в каком именно из них явился на свет тот или иной великий муж, – итак, вполне понятно, что поскольку мне самому абсолютно ничего определенного не известно по этой части, то так навсегда и останется неустановленным – увидел ли я свет в погребе, на чердаке или же в сарае; или, вернее, не увидел света, а попросту меня впервые заприметила моя драгоценнейшая матушка. Ибо, как это свойственно всем моим сородичам, глаза мои в миг рождения были затянуты пленкой. Во мне живет некое смутное и темное воспоминание о каких-то звуках, напоминающих, как я теперь понимаю, рычание и фыркание, – эти-то звуки я теперь и воспроизвожу – почти что против собственной воли, – когда меня разбирает злость. Более четким и, пожалуй, почти уже сознательным мне представляется следующее воспоминание: я нахожусь в каком-то необыкновенно тесном помещении (кладовке, что ли?), стенки коего обиты чем-то мягким; я с трудом ловлю воздух, еле дышу и, опечаленный и уstraшенный, поднимаю жалобный визг. Засим я ощущаю, как нечто проникает в упомянутое тесное помещение и весьма грубо хватает меня за животик, что и дает мне повод впервые осознать и применить на деле ту чудесную силу, которая дарована мне самой природою. Из моих пушистых передних лапок я без малейшего промедления выпустил острые и поворотливые коготки и впился ими в ту самую штуку, которая так грубо схватила меня и которая, как я впоследствии узнал, не могла быть ничем иным, как человеческой рукою. Тем не менее эта рука извлекла меня-таки из моего тесного закута и швырнула на пол, и сразу же после этого я ощутил два полновесных удара по обеим сторонам моей физиономии, по тем самым местам, где теперь, да будет мне позволено упомянуть об этом, выросли весьма и весьма благопристойные бакенбарды! Рука, которая, как я теперь могу судить, несколько пострадала из-за вышеупомянутой мышечной игры моих когтистых лапок, отвесила мне несколько оплеух – вот так я и узнал впервые о моральной причине и о следствии оной моральной причины, и, конечно же, все тот же нравственный инстинкт заставил меня убрать коготки с тем же проворством, с которым я было выпустил их. В дальнейшем эта

моя удивительная способность молниеносно втягивать коготки была совершенно справедливо признана актом величайшей *bonhomie*⁴ и воистину несравненной учтивости, а самого меня ласково прозвали «бархатной лапочкой»!

Как уже сказано, рука швырнула меня наземь. Вскоре, однако, после этого она вновь схватила меня за голову и так сильно придавила ее, что я угодил мордочкой в жидкость, которую я, сам уж не знаю, как я до этого дошел, – по-видимому, тут действовал какой-то физиологический инстинкт, – начал лакать, что вызвало во мне удивительное внутреннее довольство. Это было, как я теперь знаю, сладкое молоко – его-то я и пил; я был голоден и насыщался по мере того, как пил его. Вот так и наступила, после познания первичных начал, блаженная пора моего физического воспитания.

Снова, но уже куда ласковей, чем прежде, меня схватили чьи-то руки и уложили на тепленькую подстилку. На душе у меня становилось все лучше и яснее, и я стал выражать испытываемое мною внутреннее удовлетворение, издавая странные звуки, свойственные одним только моим сородичам, а именно те звуки, которые люди довольно удачно именуют «мурлыканьем». Вот так я и шествовал исполинскими шагами вперед в своем светском воспитании и образовании. Какое необычайное преимущество, какой бесценный дар небес – умение выражать свое внутреннее физическое удовлетворение посредством звука и жеста! – Сперва я мурлыкал, затем во мне проснулся совершенно неподражаемый талант – я стал распускать свой хвост изящнейшим образом, а затем – воистину чудесный дар: одним-единственным словом «мяу» выражать радость и скорбь, блаженство и ужас, страх и отчаяние – короче говоря, все жизненные впечатления и страсти со всеми многообразными оттенками. Что стоит человеческая речь в сравнении с этим простейшим из всех простых средств передачи своих мыслей! – Но двинемся дальше в изложении достопамятной и высокопоучительной истории моей богатой событиями юности.

Я пробудился от глубокого сна, ослепительное сияние лучилось, мерцало и переливалось передо мной; я был испуган донельзя; пелена спала с моих глаз – я прозрел!

Однако прежде, чем я смог привыкнуть к свету, прежде, чем я смог привыкнуть к пестрейшему разнообразию, которое он, этот свет, являл глазам моим, я был вынужден зачихать, издать многократное и отчаянное чихание; впрочем, вскоре после этого зрение мое совершеннейшим образом наладилось, как будто я уже с незапамятных пор взирал на белый свет.

О Зрение! Это волшебное, это великолепное обыкновение – обыкновение, без коего было бы чрезвычайно трудно вообще существовать в этом мире! – Сколь счастливы те высокоодаренные личности, коим столь же легко, как мне, удалось привыкнуть к зрению!

Не стану отрицать, что все же я необычайно испугался и опять жалобно возопил, как прежде, в памятном тесном помещении. Тотчас же явился маленький худощавый старичок, которого я никогда не забуду, ибо мне, невзирая на то что круг моих знакомых весьма широк, никогда больше не приходилось видеть никого, кого я мог бы назвать равным ему или хотя бы несколько схожим с ним. Среди моих сородичей нередко случается, что тот или иной из них носит шкурку в белых и черных пятнах, но, пожалуй, нелегко отыскать человека, у которого были бы белоснежные волосы, брови же – цвета воронова крыла, а ведь именно таков был мой воспитатель! У себя дома он расхаживал в куцем ярко-желтом шлафроке – шлафрок этот, помнится, очень испугал меня, и я, хотя и был тогда еще чрезвычайно беспомощен, предпринял попытку к бегству: то есть сполз с белой подушки вниз и вместе с тем немного вбок. Старичок склонился ко мне, движения и жесты его показались мне благодушными; он сумел вселить в мое сердце доверие. Засим он схватил меня, и я благоразумно воздержался от размахивания лапками и выпускания коготков, ибо идеи царапанья и последующего получения оплеух сами собою связались в некое единое целое, – да и в самом деле – почтенный человек этот явно

⁴ Благодушности (*фр.*).

решил ласково обойтись со мной: он посадил меня на пол перед самой миской сладкого молока, каковое я жадно вылакал. Это, как мне показалось, очень и очень обрадовало его. Старичок долго и пространно разговаривал со мной, но, увы, я ничего не понял из его пространных разглагольствований, ибо мне тогда – мне – юному, младенчески неопытному котенку, – еще не было свойственно понимание человеческого языка. Вообще, я лишь немного могу сказать о моем хозяине и покровителе. Однако я вполне уверен в том, что он непременно должен был быть во многих вещах крайне искусен и ловок – и вообще многоопытен по части всяческих наук и художеств, ибо все, которые его навещали (а я замечал среди них людей, у коих именно там, где природа украсила мою шкурку желтоватым пятном, то есть на самой груди, мерцали орденская звезда или крест), относились к нему с исключительным почтением, а порою даже с известного рода робким и благоговейным уважением (именно так, как я впоследствии относился к пуделю Скарамушу), и называли его не иначе как «мой достопочтеннейший», «мой дражайший», «драгоценнейший мой маэстро Абрагам!» – И только двое называли его просто «милейший»! Это были – долговязый сухопарый господин в штанах цвета зеленого попугайчика и белых шелковых чулках, а также маленькая толстуха – черноволосая, со множеством колец и перстней на всех пальцах. Господин сей, впрочем, был князем, а толстуха – всего лишь еврейской дамою.

Невзирая на то что маэстро Абрагама посещали столь знатные персоны, он обитал в крохотной каморке, расположенной где-то на самом верху здания, так что я совершал первые свои променады с величайшим удобством: из окошка – прямо на крышу, а оттуда – на чердак!

О да! Конечно же – не иначе как я был рожден на чердаке! – Что там погреб, что там дровяной сарай – я решительно высказываюсь в пользу чердака! – Климат, отечество, нравы, обычаи – сколь неизгладимо их влияние; да, не они ли оказывают решающее воздействие на внутреннее и внешнее формирование истинного космополита, подлинного гражданина мира! Откуда нисходит ко мне это поразительное чувство высокого, это непреодолимое стремление к возвышенному! Откуда эта достойная восхищения, поразительная, редкостная ловкость в лазании, это завидное искусство, проявляемое мною в самых рискованных, в самых отважных и самых гениальных прыжках? – Ах! Сладостное томление переполняет грудь мою! Тоска по отеческому чердаку, чувство неизъяснимо-почвенное, мощно вздымается во мне! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная отчизна моя, – тебе эти душераздирающие, страстные мяуканья! В честь твою совершаю я эти прыжки, эти скачки и пируэты, исполненные добродетели и патриотического духа! Ты, о чердак, поставляешь мне от щедрот своих то мышонка, то кусочек колбасы или ломтик сала, – ты порой позволяешь мне извлечь их из чрева дымохода, – о да, порою даже ты позволяешь мне изловить, скажем, зазевавшегося воробушка, а порою даже подкараулить и сцапать жирного голубка. «О, сколь безмерна нежность к тебе, родимый край!»

Но мне еще следует сказать кое-что относительно моего...

(Мак. л.)... разве вы не вспоминаете, всемилостивейший повелитель мой, о сильнейшей буре, сорвавшей шляпу с головы адвоката, проходившего ночью по Пон-Неф, и сбросившей оную шляпу прямо в непроглядно-мутные воды Сены? – Нечто подобное описал Рабле, но, собственно говоря, отнюдь не буря сорвала с головы адвоката ту самую шляпу, которую он, предав свой плащ на волю ветров, крепчайшим образом прижал к макушке своей, а некий гренадер с отчаянным возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» – пробегая мимо, молниеносно сорвал великолепную касторовую шляпу с адвокатского парика, невзирая на то что адвокат всячески придерживал ее, и вовсе не эта касторовая шляпа была сброшена в мутные воды Сены, а подлейшую шляпчонку бессовестного служивого буйный вихрь повлек в лоно влажной гибели! Итак, вы знаете теперь, всемилостивейший мой повелитель, что в то самое мгновение, когда господин адвокат, совершенно сбитый с толку, остановился как вкопанный, другой прощелыга-солдат с тем же самым возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» – пробежая мимо, ухватил плащ адвоката за воротник и сорвал его с плеч и что сразу же после этого

третий солдат с тем же возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» – на бегу вырвал у него из рук бамбуковую трость с золотым набалдашником. Адвокат завопил благим матом, швырнул вслед этому третьему жулику свой парик и поплелся затем, с непокрытым теменем, без плаща и без трости, домой, дабы там, дома, составить удивительнейшее из всех завещаний и узнать о поразительнейшем из всех приключений. Все это вам, конечно, известно, мой всемилостивейший повелитель!

– Мне решительно ничего не известно, – возразил князь, когда я высказал ему все это, – мне решительно ничего не известно, и я вообще не в силах понять, как это вы, маэстро Абрагам, способны наболтать такую кучу вздора. Впрочем, я знаю Пон-Неф, он находится в Париже, и хотя я никогда не переходил его пешком, я, однако же, частенько переезжал его в экипаже, как это и приличествует моему сану. Адвоката Рабле я никогда в жизни не видал, а что до солдатских проделок, то они никогда меня не заботили. Когда я, будучи помоложе, еще командовал своей армией, я велел раз в неделю угощать фухтелями всех юнкеров без изъятия за те глупости, которые они уже совершили или еще только намерены были совершить в будущем; что же касается до вояк из простонародья, то наказывать их я предоставлял поручикам, как-вые, беря пример с меня, также проделывали это еженедельно, а именно в субботу, – словом, в воскресный день во всей моей армии не было уже ни одного юнкера и ни одного рядового, который бы уже не получил надлежащую взбучку, вследствие чего мои войска, благодаря включенной в них высокой нравственности, вообще уже настолько привыкли к тому, чтобы быть битыми, еще ни разу не выдав в глаза неприятеля, что, оказавшись с оным лицом к лицу, они вынуждены бывали, в свою очередь, бить сего супостата. Это для вас должно быть совершенно очевидно, маэстро Абрагам, ну а теперь скажите мне, ради всего святого, к чему это вы наплели мне с три короба про вашу бурю, про этого вашего адвоката Рабле, злодейски ограбленного на Пон-Неф, и почему это вы не приносите мне извинений за то, что празднество не удалось и завершилось всеобщим смятением, и за то, что в самый разгар фейерверка некая ракета угодила прямо в мой тупей, и за то, что августейший мой сын угодил прямо в бассейн, где и был обрызган с головы до пят изменниками-дельфинами, а принцесса – без вуали и задрав юбки – побежала через весь парк, как Аталанта, – и за то... – но кто способен перечесать все несчастья и злополучия этой роковой ночи! – Ну, что же вы теперь скажете, маэстро Абрагам?

– Всемилостивейший мой повелитель, – возразил я, отвесив нижайший, смиренный поклон. – Кто же был повинен во всех несчастьях, если не буря – ужасающая буря, которая поднялась именно тогда, когда все уже было как нельзя лучше. Увы, разве я сам при этом не пал жертвою самого отчаянного невезения, – разве я, подобно тому самому адвокату, которого я всеподданнейше умоляю не путать со знаменитым французским сочинителем Рабле, не потерял шляпу, фрак и плащ? Разве я не...

– Послушай, – прервал здесь мастера Абрагама Иоганнес Крейслер, – послушай, друг, еще и нынче, невзирая на то что прошло уже довольно много времени с тех пор, идут разговоры о дне рождения княгини, то есть о том празднике, распорядителем которого ты был, как о чем-то в высшей степени таинственном и мрачном, и, конечно же, ты, как это тебе вообще свойственно, натворил тогда немало скандального и даже авантюрного! Народ весь и без того считал тебя своего рода чародеем, а из-за достопамятного празднества вера эта, по-видимому, еще более усилилась и окрепла. Ты ведь знаешь, я тогда как раз был в отлучке.

– Вот именно поэтому, – перебил своего друга маэстро Абрагам, – вот именно потому, что тебя тогда не было здесь, что ты, гонимый – одному небу известно, какими фуриями ада, – умчался отсюда как безумный, именно поэтому я закусил удила, именно поэтому я стал заклинать стихии, чтобы они помешали празднеству, ибо праздник этот терзал мою грудь, потому что ты, а ведь ты-то и был, собственно, героем спектакля, и ты отсутствовал; о, это был праздник, который сперва влачился тягостно и утомительно, затем, однако же, не принес влюбленным ничего, кроме бесчисленных мук, ужасающих сновидений – боли – ужаса! – Узнай же

теперь, Иоганнес, что я заглянул в самую глубину твоей души и постиг опасную – нет, грозную тайну, которая в ней таится, бушующий вулкан, в любое мгновение способный исторгнуть губительное пламя, беспощадно поглощающее все вокруг. Затаеннейшие муки должны были ожить в тебе, и фурии, как бы пробудившиеся ото сна, должны были с удвоенной силой терзать твою грудь. Как человеку умирающему, истаивающему, чахнущему – те лекарства, которые вырваны из пасти самого Орка, – ибо сильнейших пароксизмов, вызываемых этими снадобьями, отнюдь не должен страшиться мудрый врач, – именно эти лекарства должны были принести тебе гибель или исцеление! Да будет тебе известно, Иоганнес, что тезоименитство княгини совпадает с именинами Юлии, ведь Юлия, так же как и ее повелительница, наречена Марией!

– Ах, – вскричал Крейслер, он вскочил, глаза его пылали гневным огнем. – Ах! Маэстро! Разве тебе дано право затеять со мной столь дерзкую и издевательскую игру? Ужели ты – сам рок, способный проникнуть в заповедные глубины моей души?

– О безрассудный, опрометчивый дикарь, – спокойно возразил маэстро Абрагам, – когда же наконец опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, превратится в чистейшее пламя, питаемое глубочайшим чувством прекрасного, истинным пониманием того возвышенного и чудесного, что живет в твоей груди! Ты требовал от меня описания этого рокового праздника – так выслушай меня теперь спокойно. Но ежели силы твои надорваны и ты не в состоянии слушать меня, то не лучше ли нам будет расстаться, не тратя времени даром?

– Рассказывай, – приглушенно и невнятно произнес Крейслер; он снова сел, закрыв лицо руками.

– Мне не хочется, – сказал маэстро Абрагам с внезапной веселостью. – Мне вовсе не хочется утомлять тебя, Иоганнес, описанием всяческих хитроумных устройств и приспособлений, которые в большей своей части обязаны своим происхождением изобретательному разуму нашего сиятельного повелителя. Поскольку праздник началось поздно вечером, то само собой разумеется, что весь прекрасный парк, окружавший потешный замок, был ярчайшим образом иллюминирован. Я старался в этой иллюминации достичь необычайного эффекта, однако же это удалось мне лишь отчасти, ибо по настоящему повелению князя во всех аллеях на больших черных дощатых щитах были установлены пестрые плашки, составляющие вензель княгини, а над оным вензелем – изображение княжеской короны. Поскольку щиты эти были приколоты гвоздями к высоким столбам, то они очень и очень напоминали те ярко освещенные дорожные знаки, которые запрещают курить или, скажем, объезжать мытный двор. Главный спектакль должен был состояться на театральных подмостках посреди парка между кустарником и искусственными руинами; впрочем, тебе отлично знакомы эти места. На этом театре актеры, приглашенные из города, должны были представить нечто аллегорическое – аллегория сия была достаточно нелепой, чтобы понравиться до чрезвычайности, даже если бы ее автором, собственноручно ее накропавшим, не был сам наш сиятельный повелитель и ежели бы посему она, я уж воспользуюсь здесь остроумным выражением театрального директора, которому было доверено поставить сию княжескую пиесу, – не вылилась из-под августейшего пера. Кстати, от дворца до театра не так уж близко. Согласно высокопоэтической идее самого князя, гений, витающий в облаках, должен был двумя факелами озарять шествующему княжескому семейству путь в театр, вокруг же не должно было быть никакого освещения, лишь когда княжеское семейство и свита займут свои места, театр мгновенно должен был озариться ярким светом. Потому-то вышеупомянутый путь в театр и оставался погруженным в полумрак. Я тщетно пытался объяснить его сиятельству всю сложность машинерии, которая потребна для осуществления его замысла, – все дело в том, что дорога от дворца до театра была слишком уж длинна, но князь вычитал нечто подобное в «Fêtes de Versailles»⁵, и так как он еще к тому же

⁵ «Версальских празднествах» (фр.).

самолично набрел на эту поэтическую мысль, ему заблагорассудилось настоять на ее осуществлении. Во избежание каких бы то ни было незаслуженных упреков я предоставил сооружение одного гения вкупе с парой факелов заботам театрального машиниста, специально приглашенного из города. И вот, едва лишь княжеская чета, а за нею следом и вся свита вышли из дверей салона, пузатый коротышка с надутыми щеками, облаченный в платье цветов княжеского дома, с двумя пылающими факелами в растопыренных ручонках был спущен с крыши потешного замка. Кукла, однако, оказалась чрезмерно тяжелой, а ко всему еще, успев проволочить ее шагов двадцать, машина застопорилась, так что светозарный ангел-хранитель княжеского семейства повис без движения, и когда подручные театрального машиниста дернули немного сильнее, и вовсе перекувырнулся. Итак, пылающие факелы (а это были попросту восковые свечи), будучи обращены к земле, стали все заливать расплавленным воском. Первая из этих жгучих капель упала на парик самого князя. Всемилоостивейший государь стоически скрыл причиненную ему боль, но, увы, походка его утратила прежнюю размеренную важность, и он заметно ускорил шаг. Теперь злополучный гений колыхался над группой, которую образовывали гофмаршал и камер-юнкеры вместе с прочими придворными чинами, – ножками вверх, головой вниз, так что огненный дождь, льющийся из обращенных книзу факелов, попадал то тому, то другому то на голову, то на нос. Показать, что им больно, и таким образом нарушить радость праздника придворные не решались: это было бы неуважительно и нереспектабельно; вот потому-то и было презабавно наблюдать, как эти несчастные, целая когорта стоических Муциев Сцевола, с преужасно и преотчаянно искаженными физиономиями, изо всех своих сил пытались преодолеть, побороть и скрыть свои мучения, и даже более того, выдавливая из себя улыбки, которые казались как бы исторгнутыми из ада, продолжали вышагивать, не издавая ни звука, стараясь во что бы то ни стало не выдать себя произвольными стенаниями, какие могли бы обличить в них весьма непохвальную робость. К тому же еще литавры громы-хали, трубы гремели и сотни уст провозглашали: «Виват, виват всемилоостивейшей княгине! Виват нашему всемилоостивейшему государю и повелителю!» Так что, благодаря поразительному контрасту этих искаженных, воистину лаокооновских физиономий со всеобщим радостным ликованием окружающих, возникал некий особенно трагический пафос, придававший всей сцене своего рода величие и торжественность, да к тому же такого удивительного рода, что лучше и придумать невозможно!

Старый толстый гофмаршал все же не выдержал, терпение его лопнуло, когда пылающая капля угодила ему прямехонько в щеку, он в ярости и отчаянии прыгнул вбок, однако же запутался в веревках, принадлежавших к устройству нашего летательного аппарата, веревки эти были как раз на этой стороне туго натянуты над самой землей; итак, с громким воплем «Сто тысяч дьяволов!» тучный гофмаршал грохнулся наземь. В то же самое мгновение витающий в эмпиреях паж последовал за ним, увесистый гофмаршал всей своей шестипудовой тушей увлек его вниз; кукла упала в самую гущу свиты, придворные разбежались с отчаянными воплями. Факелы погасли, все оказалось в непрогляднейшей мгле. Все это случилось почти перед самым театром. Я отнюдь не стал мгновенно зажигать шнур, который должен был в единый миг воспламенить все лампы и площадки вокруг театра, нет, я решил выждать несколько минут, чтобы дать всем собравшимся время хорошенько заблудиться в непроглядной мгле среди деревьев и кустов. «Огня! Огня!» – возопил князь, подобно королю в «Гамлете». «Огня! Огня!» – завопило великое множество нестройных и охрипших голосов. Когда площадь осветилась, разбежавшаяся толпа напоминала разгромленное войско, которое с величайшим трудом пытается заткнуть бреши, пробитые в его рядах. Обер-камергер проявил себя человеком, которому не чуждо присутствие духа, он казался хитроумнейшим тактиком своей эпохи, ибо именно его усилиями в кратчайший срок был восстановлен порядок. Князь вместе со свитой взойшел на своего рода помост, возведенный посреди партера и густо усыпанный цветами. Едва лишь княжеская чета уселась, как благодаря чрезвычайно хитроумному приспособлению, придуман-

ному тем же машинистом, целая груда цветов посыпалась на этот необыкновенный помост. Но, увы, сумрачный рок пожелал, чтобы крупная огненная лилия упала князю не куда-нибудь, а на самый нос и покрыла всю его физиономию огненно-красной пылью, благодаря чему наш повелитель приобрел необыкновенно маэстозный вид, явно достойный столь торжественного праздника.

– Это уж слишком – это уж слишком, – вскричал Крейслер, пытаясь подавить смех, и все-таки расхохотался, да так, что стены задрожали.

– Не смейся столь судорожно, – сказал маэстро Абрагам, – ведь и я смеялся в ту ночь куда больше, чем когда-либо прежде, ибо я чувствовал себя, подобно эльфу Пэку, готовым учинить любое сумасбродство, чтобы только усилить переполох. Но те самые стрелы, которые я направил против других, все глубже впивались в мою собственную грудь. И вот! – дай мне только все это высказать! В самый разгар этого нелепого цветочного дождя я намеревался привести в действие ту невидимую нить, что должна была протянуться теперь через все празднество и, подобно электрической цепи, всколыхнуть самые потаенные душевные глубины тех людей, с какими я посредством таинственного душевного аппарата, в который входила и с коим сливалась вышеупомянутая нить, был, как мне думалось, в гипнотическом общении. Не перебивай меня, Иоганнес, спокойно выслушай меня. – Юлия с принцессой сидели позади княгини, немного в стороне, я не сводил глаз с них обеих. Как только литавры и трубы смолкли, на грудь Юлии упал спрятанный среди душистых ночных фиалок распускающийся бутон розы и, как струящиеся порывы ночного ветра, поплыли звуки твоей песни: «*Mi lagnerò tacendo della mia sorte amara*». Юлия испугалась, но когда песня, которую я, признаюсь, для того чтобы тебе не пришлось потом краснеть, где-то совсем в отдалении заставил играть четырех наших лучших бассетгорнистов, – итак, когда песня началась, легкое «ах» слетело с ее уст и я превосходно расслышал, как она сказала принцессе: «Конечно, он снова здесь!» – Принцесса крепко сжала Юлию в объятиях и громко вскричала: «Нет, нет, – ах, никогда!» – так что князь обратил к ним свою огненно-красную физиономию и бросил ей гневное «*Silence!*»⁶. Наш государь, видимо, отнюдь не желал слишком уж гневаться на милое свое дитя, но мне хочется здесь заметить, что чудесный грим, грим оперного «*tiranno ingrato*»⁷, не мог бы придать ему более гневного вида; у него и в самом деле в лице было нечто характерное для непрестанного и нерасточающегося гнева, так что самые трогательные речи, самые чувствительные ситуации, аллегорически представлявшие семейное счастье в тесном кругу венценосцев, пропали, увы, совершенно понапрасну! А посему актеры и зрители впали в немалое смущение. Ведь даже и тогда, когда князь в местах, которые он заранее в особом экземпляре отметил красным карандашом, целовал княгине руку и платочком осушал слезы на глазах, всем казалось, что он по-прежнему пребывает в гневе и раздражении; так что камергеры, которые, находясь при исполнении служебных обязанностей, стояли рядом с ним, перешептывались: «О Иисусе, что это такое творится с нашим все милостивейшим государем!» – Я хочу тебе еще только рассказать, Иоганнес, что в то время, как актеры – впереди на театре – представляли дурацкую пьесу, я посредством магических зеркал и прочих сложных приспособлений позади – на облачном фоне представил игру духов во славу божественного создания, кроткой Юлии, так что мелодии, которые ты сочинил в величайшем воодушевлении, звучали одна за другой и даже часто то дальше, то ближе; как некий робкий, преисполненный предчувствий возглас духов звучало имя: «Юлия». – Но тебя не было, тебя не было с нами, мой Иоганнес! И если я даже, после того как представление окончилось, восхвалял моего Ариэля, как шекспировский Просперо восхвалил своего, если бы я даже сказал, что он все устроил самым удачным образом, тем не менее моя глубокомысленная затея показалась мне, увы, необыкновенно безвкусной, пресной и вялой! Юлия по свойственной ей

⁶ Тише! (фр.)

⁷ «Злобный тиран» (ит.).

тонкости души поняла все. Но мне казалось, что она только взволнована, как будто некой приятной мечтой, приятным сновидением, которому, вообще-то, мы не склонны придавать особого значения в подлинной жизни, в жизни наяву. Принцесса же, напротив, совершенно ушла в себя. Под руку с Юлией бродила она по освещенным аллеям парка, в то время как придворные в особом павильоне утоляли жажду дивным освежающим напитком. В этот миг я собирался нанести решающий удар, но тебя не было, мой Иоганнес. – Преисполненный негодования и гнева, я обыскал весь парк, я должен был узнать, все ли приготовления к исполинскому фейерверку, каким должно было завершиться празднество, произведены соответствующим образом. И вдруг я заметил, взглянув на небо, над отдаленным Гейерштейном, в сиянии ночи маленькое нежное облачко, которое всегда предвещает непогоду: сперва оно тихо поднимается, и потом уже здесь, над нами, все завершается ужасающей грозой. В какое именно время должен совершиться этот взрыв, я, как тебе известно, рассчитываю, по состоянию облака, с точностью до секунды. До грозы оставалось меньше часа, и я решил поэтому поспешить с фейерверком. В это мгновение я услышал, что мой Ариэль начал ту самую фантаσμαгорию, которая должна была все, все разрешить, ибо в конце парка, в маленькой часовне Пресвятой Девы Марии, хор запел твоё «Ave maris stella»⁸, и пение это донеслось до моих ушей. Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли преклонив колени перед аналоем, который был вынесен из капеллы под сень деревьев. Едва я оказался на месте, как... – но тебя не было, мой Иоганнес! – позволь мне умолчать о том, что случилось потом, – увы! Тщетным осталось то, что я считал истинным шедевром своего искусства, и я узнал то, о чем я, простофиля, вовсе и не подозревал.

– Говори, говори, – вскричал Крейслер, – все выскажи, маэстро! Расскажи мне, как это случилось!

– Нет, нет, – возразил маэстро Абрагам, – теперь это тебе ни к чему, Иоганнес, а мне это терзает душу, ведь духи, вызванные мною, устрешили и заставили затрепетать мое же сердце! – Облачко! – о, счастливая мысль. – «Так пусть же, – дико воскликнул я, – так пусть же все завершится безумной суматохой», – и побежал к месту, где затевался фейерверк. Князь велел мне сказать, чтобы, когда все будет готово, я подал знак. Не отрывая глаз от облака, которое, приближаясь со стороны Гейерштейна, поднималось все выше и выше, я, когда мне показалось, что оно поднялось достаточно высоко, выпалил из мортирки. Вскоре весь двор, все придворное общество было в сборе. После обычной игры огненных колес, ракет, светящихся шаров и всяких прочих незамысловатых фокусов возник наконец вензель княгини в китайских бриллиантовых огнях, но высоко над ним плавало и расплывалось в молочно-белом свете имя Юлии. – Наконец пробил час. – Я зажег сноп ракет, и когда они, шипя и потрескивая, взвились ввысь, разразилась непогода, гроза – с расплавленно-алыми молниями, с грохочущими громами, сотрясавшими лес и горы. И ураган ринулся в парк, и тысячеголосые жалобы его зазвучали в дебрях кустарника. Я вырвал у убегающего трубача из рук его инструмент и подул в него, и на душе у меня было необычайно весело, а артиллерийские залпы огненных горшков, выстрелы из пушек и мортир отчаянно гремели, как бы катясь навстречу надвигающимся раскатам грома.

В то время как маэстро Абрагам вел таким образом свой рассказ, Крейслер вскочил, зашагал взад-вперед по комнате, размахивая руками, и наконец воскликнул в полнейшем восторге: «Да, это красиво, это великолепно, по этому я узнаю моего маэстро Абрагама, ведь у нас с ним одно сердце и единая душа!»

– О, – сказал маэстро Абрагам, – да, я знаю это: тебе по душе все самое дикое, самое ужасное, и все-таки я забыл о том, что тебя всецело сделало бы игралищем адских сил. Я велел настроить эолову арфу, которую, как ты знаешь, образуют струны, натянутые над большим бассейном. Я велел их натянуть посильнее, дабы буря, как недурной исполнитель, с изяществом

⁸ Привет тебе, звезда морей (*ит.*).

помузицировала на них. В реве урагана, в раскатах грома устрашающе звучали аккорды исполинского органа. Все быстрее и быстрее чередовались звуки, и можно было бы, пожалуй, прослушать балет фурий, балет необыкновенно величественный. Подобного рода балеты не часто ставятся в полотняных театральных кулисах. – Ну что ж! – за полчаса все прошло. Луна вышла из-за туч. Ночной ветер гудел, утешая, сквозь ветви испуганного леса и осушал слезы темных ветвей. А между тем время от времени раздавались стенания эоловой арфы, подобно отдаленному и приглушенному перезвону колоколов. Ты, мой Иоганнес, заполнил всю мою душу, заполнил настолько, что мне подумалось, что ты вот-вот встанешь передо мной, воспрянешь над могильным холмом утраченных упований, невоплотившихся мечтаний, несбывшихся грез – и упадешь мне на грудь. И вот теперь – в ночной тиши – я понял и постиг наконец, что за игру я затеял, когда изо всех сил пытался разорвать узел, стянутый сумрачным роком, я захотел его разорвать, захотел как бы вырваться из собственной груди и – став чуждым себе, как бы в ином образе – наброситься на себя же. И притом я весь сотрясаясь от леденящего ужаса, но кто вселил в меня этот ужас, если не я сам? Множество блуждающих огней плясало и прыгало по всему парку, но это были попросту всего лишь челядинцы с фонарями, искавшие и собиравшие утерянные при поспешном бегстве шляпы, парики, кошельки для волос, шпаги, туфли, шали. Я поскорее убрался прочь. Посреди большого моста перед въездом в наш город я остановился и еще раз оглянулся на парк: залитый магическим сиянием луны, он выился подобно волшебному саду, в котором уже завели свою веселую игру резвые и проворные эльфы. И вдруг я услышал тоненький протяжный писк, в моих ушах зазвучало нечто похожее на крик новорожденного. Я предположил, что кто-то совершил злодеяние, склонился низко над перилами – и обнаружил в ярком лунном свете котенка, который изо всех сил цеплялся за столб, дабы избежать верной гибели. Должно быть, кто-то утопил здесь кошачий выводок, но один зверек ухитрился выкарабкаться. «Ну что ж, – подумал я, – хоть это и не дитя человеческое, а всего лишь несчастное животное, которое умоляет тебя спасти его, ты обязан его спасти».

– О ты, чувствительный Юст! – смеясь вскричал Крейслер. – Скажи, где твоя Тельгейм?

– Позволь, – продолжал маэстро, – позволь, мой Иоганнес, с Юстом ты меня едва ли вправе сравнивать. Я перегостил самого чувствительного Юста. Ибо он спас пуделя, животное, которое каждый охотно терпит около себя, от которого ожидают также приятных услуг – скажем, поноски, – пудель приносит перчатки, кисет и трубку и прочее, а я спас кота, зверька, который многих выводит из себя, которого принято считать коварным предателем, далеким от сладостных и благодетельных чувств, нисколько не способным к сердечной дружбе, вот ведь какие скверные качества приписывают ему! Говорят, что кошки никогда совсем не отказываются от враждебности к человеку, и, стало быть, я спас кота из чистейшего самоотверженного человеколюбия. Я перелез через перила, не без некоторой опасности спустился к самой воде, схватил жалобно мяукавшего котенка, вытащил его наверх и сунул в карман. Придя домой, я поспешно разделся и упал, усталый и обессиленный, как был – на постель. Однако едва я заснул, как меня разбудили жалостный писк и повизгивание, которые, как мне почему-то показалось, доносились из платяного шкафа. Оказывается, позабыв о котенке, я оставил его в кармане сюртука. Итак, я освободил зверька из его темницы, за что он меня так испарал, что вся моя рука оказалась в крови. Я уже собирался было вышвырнуть кота в окошко, но вскоре, однако, одумался и устыдился своей мелочности и глупости, своей мстительности, обращенной – добро еще на человека, а то ведь на неразумную тварь. Одним словом, я со всем тщанием и старанием воспитал и вырастил этого кота. Это умнейшее, учтивейшее, остроумнейшее животное среди всех своих сородичей, думается, что ему недостает разве что утонченного воспитания, известного лоска, которые ты, дорогой мой Иоганнес, конечно же, без особого труда сможешь ему дать. Ты сможешь привить ему эти качества и поймешь, почему я намерен передать тебе вскорости кота Мурра, ибо именно так я называл его. Невзирая на то что Мурр

в настоящее время, как выражаются юристы, еще не *homo sui juris*⁹, я все же спросил у него согласия – то есть желает ли он поступить к тебе в услужение. Он вполне согласен, и его весьма устраивает эта перспектива.

– Ты мелешь вздор, – сказал Крейслер. – Ты мелешь вздор, маэстро Абрагам! Ты знаешь, что я не слишком люблю кошек, более того – я недолюбливаю их и в гораздо большей степени отдаю предпочтение собачьему племени.

– Я прошу, – возразил маэстро Абрагам, – я прошу тебя, дражайший Иоганнес, от всей души прошу – возьми моего многообещающего кота Мурра и поддержи его у себя по крайней мере до тех пор, пока я не возвращусь из путешествия. Поэтому-то я его и захватил с собой, он тут за дверью и ожидает благожелательного ответа. Ну взгляни же на него, по крайней мере.

С этими словами маэстро Абрагам распахнул дверь, за дверьми на соломенной подстилке, свернувшись клубочком, спал кот, которого и в самом деле можно было назвать чудом кошачьей красоты. Серые и черные полосы, идущие вдоль спины, сливались вместе на темени между ушами, на лбу образуя грациознейшие гиероглифы. Такой же полосатостью и к тому же совершенно необыкновенной длиной и толщиной отличался и воистину роскошный хвост. К тому же пестрая шкурка кота поразительно блестела и переливалась в солнечных лучах, так что между черными и серыми полосами еще можно было приметить узенькие золотисто-желтые полосы. «Мурр! Мурр!» – воскликнул маэстро Абрагам. – «Мурр... Мур...» – отозвался кот почти членораздельно, потянулся, встал, изогнулся восхитительной дугой и широко раскрыл свои глаза цвета внешней травы. В глазах этих сверкали ум и смекалка, они как бы метали искры – целый сноп огненных искр! Во всяком случае, согласившись с маэстро Абрагамом, Крейслер должен был признать, что в облике кота было нечто необычное, из ряда вон выходящее; что голова его весьма крупна, настолько крупна, что в ней без труда могут вестись самые разнообразные науки, а усы его уже и теперь, в юности, настолько длинны и посеребренны столь солидной сединой, что придают коту несомненную авторитетность – одним словом, вид истинного греческого мудреца.

– Ну можно ли так, мгновенно развалившись, спать где попало! – обратился маэстро Абрагам к своему хвостатому питомцу. – Этаким манером ты только утратишь всю свою веселость и живость и преждевременно превратишься в унылого ворчуна! Умойся как следует, дражайший Мурр!

Тотчас же феноменальный кот уселся на задние лапы, а передними, бархатными, нежнейшим образом провел по лбу и щекам и затем издал необыкновенно явственное, бодрое и радостное «мяау».

– Перед тобой, – продолжал маэстро Абрагам, – не кто иной, как сам господин капельмейстер Иоганнес Крейслер, к которому ты поступаешь отныне в услужение.

Кот пристально взглянул на капельмейстера, громадные глаза его сверкали, искрились. Он замурлыкал, вскочил на капельмейстерское плечо, как будто желая ему что-то этакое сказать на ухо. Засим кот соскочил на пол, потом обошел, то поднимая, то распуская хвост, вокруг нового своего хозяина, как бы желая свести с ним более близкое знакомство.

– Прости меня, боже, – воскликнул Крейслер, – я готов даже подумать, что этот серый плутишка отнюдь не лишен разума и происходит из прославленного семейства Кота в сапогах!

– Я вполне уверен, – заявил маэстро Абрагам, – что кот Мурр – самая забавная на свете тварь, истинный полишинель, и притом он благонравен и хорошо воспитан, скромнен и нисколько не навязчив, совсем не то что псы, которые нередко надоедают нам своими неуклюжими собачьими нежностями.

– Когда я гляжу на этого премудрого кота, – сказал Крейслер, – то с огорчением думаю о том, сколь узок круг наших познаний. Кто может сказать, кто может определить пределы

⁹ Не обладает самостоятельной правоспособностью (*лат.*).

способностей, присущих животным? Если для нас многое или скорее даже почти все в природе остается недоступным исследованию, то у нас всегда под рукой готовые ярлычки, так что мы неизменно кичимся своей пустопорожней школярской премудростью, хотя с ее помощью видим не дальше собственного носа. И разве мы не налепили ярлык «инстинкта» на все духовные проявления жизни животных, а ведь проявления эти порою совершенно удивительны! Я хотел бы, однако, получить ответ всего лишь на один-единственный вопрос: совмещается ли с инстинктом, то есть со слепым произвольным стремлением, – способность к сновидениям? А ведь, например, собакам снятся чрезвычайно живые сны, это знает всякий, кто наблюдал спящего охотничьего пса. Собака ищет, обнюхивает, сучит лапами, как будто бежит во всю прыть; она задыхается, обливается потом... Впрочем, о кошках, видящих сны, я пока ничего не слышал.

– Коту Мурру, – прервал своего друга маэстро Абрагам, – бесспорно, снятся живейшие сны – и более того, он погружается в те сладчайшие грезы, в то созерцательное состояние, представляющее собой нечто среднее между сном и бдением, свойственное истинно поэтическим личностям в те чудные мгновения, когда у них зарождаются истинно гениальные замыслы. В этом состоянии он отчаянно вздыхает и охает: с недавнего времени он ведет себя настолько странно, что я вынужден думать, что мой драгоценный Мурр либо влюблен по уши, либо трудится над какой-нибудь трагедией.

Крейслер рассмеялся от души и воскликнул: «Так иди же скорей сюда, мой разумный, мой преблаговоспитанный, преостроумный, высокопоэтический кот Мурр, и давай...»

(*Мурр пр.*)...первоначального воспитания, вообще относительно первых месяцев моей юности рассказать еще многое.

В высшей степени замечательно и поучительно, когда великий ум в автобиографии своей распространяется обо всем, что случилось с ним в его юности, обо всем, каким бы незначительным все это ни казалось. – Впрочем, разве в жизни высокого гения может когда-либо произойти хоть что-либо незначительное? Все, что он затевал – или же не затевал в дни своей ранней юности, обладает исключительной важностью, озаряет ярким светом глубочайшую внутреннюю суть и замыслы его бессмертных творений. Прекрасным мужеством наполняется грудь юноши, устремляющегося к высокой цели, юноши, которого терзают робкие сомнения: достаточно ли внутренних сил в его груди, в особенности когда он читает, что великий муж в бытность мальчиком также играл в солдатики, чрезвычайно любил сласти и порою даже бывал бит за леность, невоспитанность и полнейшую бестолковость? «Точь-в-точь как я, точь-в-точь как я», – в восторге восклицает юноша и более не сомневается в том, что и он тоже является величайшим гением, подобно своему обожаемому кумиру.

Иной читывал Плутарха или, пожалуй, всего лишь Корнелия Непота и стал великим героем, иной – трагических поэтов древности в переводах, а наряду с ними – Кальдерона и Шекспира, даже Гёте и Шиллера и стал, ну, ежели и не великим поэтом, то, во всяком случае, скромным, но приятным всем и каждому стихотворцем, а ведь людям нередко бывают по душе и такого рода стихослагатели. Итак, мои творения также безусловно зажгут в груди у иного юного, одаренного незаурядным разумом и чувствами кота – непременно зажгут высокое пламя поэзии, и ежели этот благородный кот-юноша примется за такие же биографические забавы, как и я, вот здесь, на крыше, если он всецело вникнет в суть вдохновенных идей той моей книги, которая нынче как раз находится в моих когтях, то он непременно воскликнет в пылу восторга: «Мурр, божественный Мурр, величайший, гениальнейший из всех котов! Тебе, тебе одному я всем обязан, только твой пример сделал меня великим!»

Похвально, что маэстро Абрагам, занимаясь моим воспитанием, отнюдь не придерживался забытых уже принципов Базедова, не следовал также и методу Песталоцци, нет; напротив, он предоставил мне ничем не ограниченную свободу, дабы я воспитывал себя сам, с тем лишь, чтобы я непременно придерживался определенных основополагающих принципов,

каковые маэстро Абрагам считал совершенно необходимыми для жизни в обществе, где положено подчиняться властям предержащим, ибо если бы я слепо и безо всяческих размышлений бегал бы взад и вперед, носясь как угорелый, и собирал бы везде унижительные толчки в бок и мерзкие шишки, то общество вообще не поблагодарило бы меня за это. Сутью этих начал мой маэстро считал естественную учтивость, в противоположность условной, конвенциональной, согласно которой непременно следует говорить: «Простите великодушно», когда вас толкает какой-нибудь бездельник или же когда вам отдавили лапу. Пускай даже учтивость такого рода и необходима человеку, но я все-таки не в силах уразуметь, почему это ей должно подчиняться также мое свободнорожденное племя, и если даже главным инструментом, посредством коего маэстро приобщил меня к этим основополагающим принципам, и был некий чрезвычайно фатальный березовый прут, то я, разумеется, все же вправе с полнейшим основанием посетовать на чрезмерную твердость, проявленную моим воспитателем. Я, конечно, сбежал бы от него, если бы меня не удерживало и не привязывало накрепко к моему маэстро мое врожденное тяготение к высшей культуре. – Чем больше культуры, тем меньше свободы, вот непреложная истина! Вместе с ростом культуры возрастают потребности, вместе с потребностями...

Одним словом, именно мгновенное и безотлагательное удовлетворение естественных потребностей без учета места и времени – это было первое, от чего мой маэстро, действуя посредством вышеупомянутого рокового и ужасного березового прута, меня весьма успешно отучил. Затем пришла очередь страстных влечений, которые, как я впоследствии убедился, обязаны своим возникновением некоему неестественному состоянию души. Именно эти странные настроения, которые, возможно, были порождены самой моей душевной организацией как таковой, словно бы приказывали мне не прикасаться к молоку, да что там к молоку – даже и к жаркому, которое маэстро оставлял для меня, – нет, они побуждали меня прыгать на стол и лакомиться тем, что он намеревался вкушать сам. Я постиг всю силу и неотвратимость березовой розги, после чего оставил эту привычку. И я вижу, что маэстро был прав, когда старался отвлечь мои помыслы от подобных соблазнов, ибо мне известно, что многие из моих добрых собратьев, менее причастные к культуре, менее благовоспитанные, чем я, угодили благодаря этому в ужаснейшие передрыги, да более того – попали в самое печальное положение – и, увы, до конца дней своих. Кстати сказать, мне стало известно, что один подающий большие надежды юноша-кот, не обладая достаточной внутренней духовной закалкой, дабы противостоять своему влечению, вылакал кувшин молока, искупив свою вину потерей хвоста, и, всеми презираемый и осмеиваемый, вынужден был удалиться от света и коротать свои дни в одиночестве. Следовательно, мой маэстро был прав, когда отучал меня от подобного рода поступков: однако я не могу простить ему того, что он противился моему тяготению к наукам и искусствам.

Ничто не привлекало меня в комнату маэстро больше, чем заваленный книгами, рукописями и всяческого рода диковинными инструментами письменный стол. Я могу смело сказать, что этот стол был чем-то вроде заколдованного круга, в который я был ввергнут как бы силою некоего заклятия, и все-таки я испытывал при виде его своего рода священный ужас, удерживающий меня от того, чтобы вполне предаться моим пагубным влечениям. Но наконец, в один прекрасный день, когда маэстро отсутствовал, я преодолел свою робость и вспрыгнул на стол. Что за сладострастное чувство, что за наслаждение я испытал, восседая на столе среди книг и рукописей и роюсь в них. Не озорство, нет, только жадность, жгучий голод, пылкая жажда ученых познаний привели меня к тому, что я ухватил лапой одну рукопись и так долго ворошил ее, таскал взад-вперед, пока она не оказалась растерзанной в клочья. Маэстро вошел в кабинет и, увидя, что случилось, набросился на меня с обидным для меня возгласом: «Ах ты, бессовестная bestия!» – и угостил меня такой порцией березовой каши, что я, стenea и повизгивая от боли, заполз под печку и целый день меня невозможно было выманить оттуда самыми дружелюбными словами и уговорами. Кого бы это событие не отпугнуло навсегда, не отвратило бы от того пути, следовать по которому ему предписано самой природой! Но едва я

оправился после всех своих страданий, как, следуя своему непреодолимому стремлению, снова вспрыгнул на письменный стол. Конечно, достаточно было моему маэстро чуть прикрикнуть на меня, достаточно было воскликнуть, скажем: «Ишь чего захотел!» – чтобы вновь согнать меня со стола, так что покамест до ученых занятий дело не доходило; тем не менее я стал спокойно дожидаться благоприятного момента, чтобы вновь приступить к занятиям, и этот момент, кстати сказать, вскоре наступил. В один прекрасный день, когда маэстро собирался уходить, я тотчас же хорошенько спрятался в комнате, да так хорошо спрятался, что он никак не мог меня отыскать, когда, помня о растерзанном манускрипте, вознамерился выдворить меня из комнаты. Едва маэстро удалился, как я одним прыжком вскочил на письменный стол и разлегся посреди рукописей, что наполнило мою душу неописуемым наслаждением. Я ловко раскрыл лапой одну довольно толстую книгу, лежавшую передо мной, и попробовал, не смогу ли уразуметь письма, заключающиеся в ней. По правде сказать, сперва мне это вовсе не удавалось, но я отнюдь не оставил своих попыток, а продолжал всматриваться в книгу, ожидая, что на меня снизойдет какое-то особое озарение и что, вдохновленный им, я научусь читать. Вот в этом положении, углубившись в размышления над книгой, и застал меня неожиданно мой маэстро. С криком: «Гляди-ка, что он творит – проклятая bestия!» – он накинулся на меня. Было уже поздно спастись бегством – я прижал уши, согнулся в три погибели, как только мог, чувствуя, что розга вот-вот загуляет по моей спине. Но уже занеся было руку, мой маэстро внезапно застыл, расхохотался и воскликнул: «Котик-котик, неужто ты читаешь? Ну, этого я не могу, да и не хочу тебе запретить. Глядите-ка, что за стремление к наукам засело в нем!» Он вытащил книгу из-под моих лап, заглянул в нее и засмеялся еще громче, чем прежде. – «Я сказал бы даже, – произнес он затем, – я полагаю даже, что ты составил себе небольшую, так сказать, подручную библиотеку, потому что я вовсе и не ведаю, каким бы еще образом эта книга могла очутиться на моем письменном столе? Ну что же, читай – учись и штудируй прилежно, мой котик, во всяком случае, если даже ты станешь подчеркивать наиболее важные места в книге неглубокими царапинками – я охотно тебе это разрешаю!» С этими словами он вновь подsunул мне эту книжку, предварительно раскрыв ее. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение Книжке «Об обхождении с людьми», и я почерпнул из этого замечательного сочинения великое множество житейской мудрости. Она, книга эта, заключает в себе мысли, как бы излившиеся из моей собственной души, да и вообще чрезвычайно подходит для котов, которые желают каким-то образом приспособиться к обществу людей. Эта тенденция данной книги, насколько мне известно, до сих пор упускалась из виду ее читателями, и поэтому порою высказывалось ошибочное суждение, что, дескать, человек, который пожелает слишком твердо придерживаться начертанных в этой книге правил, непременно и повсеместно прослывет самым что ни на есть заскорузлым и даже, более того, – бездушным педантом.

С этих самых пор маэстро не только терпел мое присутствие на его письменном столе, но ему даже нравилось, когда я, застав его за работой, вспрыгивал на стол и располагался в свое удовольствие среди его рукописей.

Маэстро Абрагам имел обыкновение нередко читать вслух всякую всячину. Я старался в подобных случаях принять такую позу, чтобы удобнее было заглядывать через его плечо в книгу, что, благодаря отличному зрению, каким наградила меня природа, мне вполне удавалось, причем я нисколько не мешал моему маэстро и не был ему в тягость. Таким образом я, сличая письменные знаки со словами, которые он произносил, вскоре выучился читать, и ежели это кому покажется маловероятным и недостоверным, то я могу только сказать, что такой скептик не имеет ни малейшего понятия о том совершенно особенном врожденном даре, которым меня наградила природа. Истинные гении, которые меня понимают и воздают мне должное, не станут испытывать никаких сомнений касательно такого рода образования, которое, быть может, весьма напоминает их собственное. При этом я не премину поделиться с читателями сделанным многозначительным наблюдением касательно совершенного понима-

ния человеческой речи. А именно – я вполне сознательно установил, что знать не знаю и ведать не ведаю, каким именно образом достиг этого понимания. По-видимому, нечто подобное бывает и с людьми, впрочем, меня это нисколько не удивляет, ибо племя это в свои детские годы заметно глупее и беспомощнее, чем мы, кошки. Даже когда я был крохотным котенком, со мной никогда не случалось, чтобы я попадал себе лапой в глаз, лез в огонь, хватался за луч света или уплетал сапожную ваксу вместо вишневого повидла, как это нередко бывает с малыми детишками.

И вот теперь, когда я научился читать и с каждым днем все больше набивал себе голову чужими мыслями, я ощутил непреодолимое стремление уберечь от забвения свои собственные мысли в том виде, в каком породил их обитающий во мне гений, а для этого мне, конечно, непременно надо было овладеть весьма трудным искусством письма. С какой внимательностью я ни следил за рукою моего маэстро, когда он писал, как тщательно я ни наблюдал за ее движениями, мне все же никак не удавалось уразуметь всю доподлинную механику движений этой руки. Я проштудировал почтенного Гильмара Кураса, единственное руководство по каллиграфии, которое имелось в библиотеке моего маэстро, и чуть было не напал на мысль, что таинственная трудность писания может быть устранена лишь посредством той большой манжеты, которая надета на изображенную там пишущую руку, и что только благоприобретенной особой ловкостью моего маэстро можно объяснить то, что он, мой маэстро, пишет безо всякой манжеты, так же, впрочем, как опытный канатоходец в конце концов вполне научается обходиться без шеста-балансира. Я жадно всматривался – не найдется ли где подходящей манжетки, и уже собирался было оторвать лоскуток от ночного чепца нашей престарелой экономки, дабы изготовить из него сию манжетку для моей правой лапки и приладить ее, как вдруг в момент неожиданного озарения, какое, как я полагаю, случается у особо гениальных личностей, меня осенила великолепная мысль, которая все разрешила. А именно – я уразумел, что решительно невозможно держать перо или карандаш так, как держат их мой маэстро; все, надо полагать, зависит от различия в анатомическом строении наших рук – и эта гипотеза оказалась справедливой. Я должен был придумать иной способ писания, соответствующий строению моей правой лапки, и я в самом деле изобрел такой способ, как этого и следовало ожидать. Вот так, из особой организации отдельных индивидуумов возникают новые системы.

Другое пренеприятное затруднение было обнаружено мною в процессе окунания пера в чернильницу. Дело в том, что мне все никак не удавалось при окунании уберечь от чернил мою лапку: она вечно попадала вместе с пером в чернила, и посему первые мои пробы пера оказывались сделаны не столько пером, сколько лапой, – они выходили великоваты и широковаты и несколько размазаны. Поэтому профаны и прочие недоумки могут счесть мои первые манускрипты попросту бумагой, испещренной кляксами. Впрочем, гении легко угадают гениального кота и в его первых творениях и поразятся глубине и полноте ума, изначально, даже на самых первых порах, хлынувшего из неиссякаемого источника, и не только поразятся, а попросту даже будут потрясены! И вот, дабы потомки когда-нибудь не начали спорить и пререкаться, дискутируя о хронологическом порядке появления моих бессмертных творений, я должен здесь сказать, что прежде всего я написал философически-сентиментально-дидактический роман: «Мысль и чутье, или Кот и пес». Уже эта вещь могла бы произвести необычайный фурор. Затем, чувствуя себя уверенно в любом седле, я сочинил политический трактат, озаглавленный «К вопросу о мышеловках и об их влиянии на образ мыслей и жизненную энергию кошачества»; засим я ощутил вдохновение в драматическом роде и подарил миру трагедию «Кавдаллор – король крысиный». Также и эта трагедия могла быть играна несчетное количество раз на всех мыслимых и немыслимых сценах, с самым потрясающим успехом. Череду моих сочинений в их будущем полном собрании должны будут открыть эти творения моего вознесшегося в поднебесье духа, а о тех поводах, которые побудили меня написать их, я еще при случае расскажу в надлежащем месте.

Когда я научился ловчее держать перо, так, чтобы моя лапка не оказывалась заляпанной чернилами, естественно, что и стиль мой сделался куда приятнее, симпатичнее, прозрачнее и светлее, я стал ориентироваться предпочтительнее всего на альманахи муз, сочинял различные приятные отрывки и пьесы и вообще весьма скоро сделался тем достойным и пресимпатичным господином, каким я ныне являюсь. Я чуть было не сотворил тогда героико-эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, право, если бы я ее завершил, она оказалась бы вовсе не похожа на иные произведения этого жанра, за что Тассо и Ариосто еще могли бы возблагодарить небеса в своих могилах, ибо ежели и в самом деле из-под моих когтей выпорхнула бы героическая поэма, то никто в мире никогда больше не стал бы читать этих поэтов.

А теперь я перехожу к...

(Мак. л.)...для лучшего понимания следует, однако, изложить и разъяснить тебе, любезный читатель, – ясно, четко и недвусмысленно положение вещей.

Всякий, кто хоть раз останавливался в очаровательном городишке Зигхартсвейлере, безусловно, слышал разговоры о князе Иринее. Скажем, если он заказывал трактирщику форелей – блюдо воистину замечательное в этой местности, – как последний непременно отвечал ему: «Вы правы, сударь! Наш всемилостивейший князь также с величайшим наслаждением кушают форелей, и я постараюсь приготовить эту превкусную рыбу именно так, как это принято при дворе». Впрочем, из новейших географий, ландкарт, статистических сведений просвещенный путешественник узнавал лишь то, что городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и всей прочей округой давным-давно сделался неотъемлемой частью великого герцогства, через которое вышеупомянутый путешественник только что проезжал; итак, его в немалой мере изумляло то, что здесь он обнаруживал всемилостивейшего князя и весь его княжеский двор. Вот в чем, однако, заключалось дело. Князь Иринея и впрямь некогда правил пресимпатичным миниатюрным княжеством неподалеку от Зигхартсвейлера, и так как он с помощью хорошей доллондовской подзорной трубы с бельведера своего дворца в местечке, которое он сделал своей резиденцией, мог обозреть все свои владения, конечно же, он никогда не забывал о благополучии своих возлюбленных подданных, так же как и о всех отрадах и горестях, выпадавших на долю его крохотной страны. В любую минуту он мог без малейшего труда узнать, каковы виды на урожай, скажем, у Петера, посеявшего пшеницу в отдаленнейшей части его страны, и столь же отлично наблюдать за тем, хорошо ли и прилежно ли трудятся Ганс и Кунц на виноградниках своих! Говорят, что князь Иринея однажды, прогулявшись в сопредельное государство, ненароком потерял свою страну – она выпала у него из кармана, и все тут; однако же доподлинно известно, что в новом, значительно дополненном издании вышеупомянутого великого герцогства также и владения князя Ириней вписаны, впечатаны и внесены в общую опись. Светлейшего князя освободили от забот, свойственных правителю, выплачивая ему из доходов его былых владений вполне приемлемый апанаж, который ему как раз и полагалось проедать в очаровательном Зигхартсвейлере.

Кроме этой крохотной страны князь Иринея обладал еще вполне солидным состоянием в наличных деньгах, состояние это ни в коей мере не было сокращено или урезано: таким образом, он и глазом не успел моргнуть, как из маленького правителя внезапно сделался всеми уважаемым частным лицом, которое без всякого принуждения со стороны, по собственному изволению вправе жить так, как ему заблагорассудится.

У князя Ириней была репутация тонко образованного властелина, большого ценителя наук и искусств. Следует еще добавить, что бремя правления издавна казалось ему тягостным и причиняющим боль, и даже более того: о нем поговаривали, будто он изложил в изящной стихотворной форме романтическое желание вести уединенное идиллическое существование в маленьком домике близ журчащего ручья, разделяя свое уединение с несколькими домашними

животными, так сказать, *procul negotiis*¹⁰; итак, следовало думать, что теперь он, позабыв о том, что он правитель и властелин, устроит свою жизнь уютно и по-домашнему, что, кстати, для столь богатого и независимого частного лица более чем осуществимо. Однако на деле все обстояло совершенно иначе!

Очень может быть, что любовь великих мира сего ко всяческим искусствам и наукам следует рассматривать лишь как неотъемлемую часть собственно придворного существования. Приличия требуют, чтоб великие мира сего обладали произведениями живописного искусства, слушали музыку, и было бы весьма неприлично и даже странно, если бы придворный переплетчик бил баклуши, а не переплетал бы непрестанно замечательнейшие творения новейшей литературы в кожу с золотым тиснением, заодно снабжая их золотым обрезом. Однако если эта любовь является непреложной составной частью придворного существования, то вместе с ним любовь эта должна исчезнуть и как таковая отнюдь не может составлять предмет непрекращающихся забот для того, кто утратил престол или хотя бы даже скромный регентский стульчик, на котором былому правителю восседалось так приятно.

Князь Иринея, однако, старательно сохранил и то и другое, и придворный церемониал и любовь к искусствам и наукам, благодаря тому что он воплотил свои сладостные грезы, превратив их в некий сон наяву, реальными персонажами которого оказались как он сам со всем своим окружением, так и весь Зигхартсвейлер.

А именно – князь делал вид, что он никогда и не переставал быть правящим государем и сувереном, он сохранил весь свой придворный штат: государственного секретаря, финансовую коллегия и т. д. и т. п., он по-прежнему награждал своих бывлых верноподданных домопощенными фамильными орденами, давал аудиенции, устраивал придворные балы, в которых обычно принимало участие от двенадцати до пятнадцати персон, однако этикет соблюдался здесь куда строже, чем при крупнейших дворах; благо обитатели городка были достаточно благодушны и охотно делали вид, что ложный блеск этого сугубо призрачного двора приносит им и их городку необыкновенную славу и чрезвычайную честь. Таким образом, добрые зигхартсвейлерцы называли князя Иринея милостивым своим государем, иллюминировали город в дни тезоименитств и вообще охотно жертвовали собой ради того, чтобы позабавить и потешить князя и его двор, точь-в-точь как афинские горожане в шекспировском «Сне в летнюю ночь».

Конечно, невозможно было отрицать, что князь играет свою роль эффектно и не без пафоса и превосходно умеет заражать этим пафосом все свое окружение. Вот, скажем, зигхартсвейлерский клуб. Является финансовый советник князя Иринея, советник этот мрачен, погружен в свои мысли, из него и слова не вытянешь! Тучи омрачают его чело, он погружен в глубокомысленные размышления, и когда его отвлекают от них, вздрагивает всем телом, как бы внезапно пробуждаясь! Добрые зигхартсвейлерцы в его присутствии беседуют шепотом, ходят на цыпочках. Но вот пробило девять, финансист вскакивает, хватается за шляпу, и тщетны все попытки удержать его, заставить его остаться, ибо он с горделивой и в высшей степени значительной миной заявляет, что его ожидают целые груды актов, что он вынужден будет посвятить всю ночь приготовлениям к завтрашнему, необыкновенно важному, последнему в данном квартале заседанию коллегии, и спешит домой, оставляя общество в состоянии благоговейного оцепенения и вполне искреннего изумления перед важностью и необычайной трудностью исполняемых им обязанностей. Но что же это за глубокомысленный доклад, который сей изнуренный неусыпными трудами подвижник должен будет готовить всю ночь напролет? Оказывается, к нему стекаются счета за стирку из всех департаментов – кухни, столовой, гардеробной – за истекший квартал – и именно он, и никто иной, должен делать доклад относительно всех обстоятельств, связанных со стиркой! – Вот так же весь Зигхартсвейлер сочувствует и соболезнует несчастному княжескому кучеру, однако восклицает, изумленный

¹⁰ Уйдя от дел (*лат.*).

премудрым решением княжеской коллегии: «Строго, но справедливо!» Все дело заключается в том, что этот придворный кучер согласно полученной им инструкции продал пришедшую в негодность коляску, так называемую полукарету, однако финансовая коллегия обязала его, под угрозой незамедлительного отрешения от должности, в трехдневный срок доказать, где он оставил другую половину оной кареты, каковая, весьма возможно, была еще вполне пригодна к употреблению.

Необыкновенной звездой, сиявшей при дворе князя Ириней, была советница Бенцон, вдова, уже на четвертом десятке; некогда замечательная красавица, еще и ныне, впрочем, не лишенная привлекательности, единственная из придворных, чья принадлежность к дворянству представлялась сомнительной и которую, однако, князь навсегда допустил ко двору. Ясный и проницательный рассудок советницы, ее живой ум, ее светская опытность и житейская мудрость, а также – прежде всего и больше всего – известная холодность ее характера, совершенно необходимая тем, кто желает повелевать себе подобными, – все это содействовало тому, что она сделалась весьма влиятельной особой, так что, собственно говоря, именно она была той личностью, которая держала в своих руках и дергала все ниточки кукольной комедии сего миниатюрного двора. Дочь ее Юлия выросла вместе с принцессой Гедвигой, и на духовное развитие принцессы советница оказывала такое заметное влияние, что принцесса казалась чужой в княжеском семействе, особенно разительно отличаясь от своего брата. Дело в том, что принц Игнатий был обречен на вечное младенчество: его почти можно было назвать слабоумным.

Советнице Бенцон противостоял столь же влиятельный, столь же глубоко проникающий в самые интимные детали существования сиятельного семейства, хотя и на совершенно иной лад, чем она, престранный господин, который тебе, о любезный читатель, уже известен в качестве *maître de plaisir*¹¹ при дворе князя Ириней, а также в качестве иронического иллюзиониста и чернокнижника.

Маэстро Абрагам стал своим человеком в княжеском семействе при весьма странных обстоятельствах.

Почивший в бозе батюшка князя Ириней был государем простых и скромных правил. Он отлично разумел, что излишние потрясения, чрезмерные усилия реформировать что бы то ни было непременно разрушат хилый и хрупкий государственный механизм, вместо того чтобы придать этому механизму больший размах и ускоренный ход. Поэтому он в своем крохотном княжестве пустил все идти так, как оно шло и до него, испокон веков, и хотя такого рода отношение к делам правительственным лишало его случая и возможности явить во всем блеске свой государственный ум или же какие-либо иные дары небес, доставшиеся на его долю, он вполне удовлетворялся тем, что в его княжестве все чувствовали себя отлично, что же касается отношений с другими государствами, то тут дело обстояло так, как оно обычно обстоит с женщинами, ибо лишь ту из них можно признать вполне безупречной, о которой не говорят вовсе. И если миниатюрный двор старого князя был церемонным, старомодным, чопорным и если старый князь никоим образом не был способен постичь суть целого ряда либеральных идей, созданных самой нашей современностью, то причина этому была в неизменности того одеревеневшего остова, который обер-гофмейстер, гофмаршалы и камергеры поддерживали с таким трудом и тщанием. Однако же на том остове был утвержден и вращался некий маховик, который ни один гофмейстер, ни один гофмаршал никогда и не пытались остановить. Этим маховиком, этим маховым колесом было свойственное престарелому князю чуть ли не с пеленок непреодолимое тяготение ко всему странному, таинственному и загадочному. – Старый князь пробовал иногда, по примеру прославленного калифа Гарун аль-Рашида, переодевшись, ходить по городу и по прилегающим селениям, чтобы удовлетворять ту тягу, которая находилась в престранном противоречии со всеми прочими тенденциями его существования, дабы

¹¹ Устроитель празднеств (*фр.*).

удовлетворить это влечение или же для того, чтобы отыскать ему применение, чтобы насытить его чем-то. Когда на него находил подобный стих, старый князь надевал круглую шляпу и облачался в серый редингот, так что всякий прохожий, лишь мельком взглянув на его сиятельную персону, мгновенно соображал, что князь вышел инкогнито и узнавать его отнюдь не следует.

Итак, однажды случилось, что старый князь – переодетый и якобы неузнаваемый – шагнул по аллее, ведущей от его дверей в ту отдаленную территорию парка, где поодаль от других стоял уединенный домик, в котором обитала безутешная вдова княжеского лейб-повара. Подойдя к этому домику, князь увидел двух незнакомцев, закутанных в плащи. Люди эти только вышли из вышеупомянутого домика. Его сиятельство отошел в сторону, и историограф княжеского семейства, из писаний коего я извлек эти подробности, замечает, что старый князь остался бы неузнанным даже и тогда, если бы на нем вместо серого редингота был надет сверкающий мундир с ярко блещущей орденской звездой, – неузнанным по той простой причине, что был уже поздний вечер и тьма кругом стояла – хоть глаза выколи! Когда же сии закутанные господа проходили мимо князя, он с исключительной явственностью услышал следующий диалог. Один сказал: «Благородный брат мой, умоляю тебя, возьми себя в руки, не сглуми хоть на этот раз! – Этот субъект непременно должен убраться, прежде чем князь что-нибудь о нем узнает, ибо в противном случае этот проклятый чудодей сядет нам на шею и сатанинскими своими чарами всех нас погубит». Другой ответил: «*Mon cher frère*¹², не стоит так горячиться, ты знаешь мою проницательность, мою *savoir faire*¹³. Завтра я швырну этому опасному пройдохе несколько карлино, и пусть отправляется дурачить людей своими фокусами туда, куда хочет. Здесь ему нельзя оставаться. Князь ведь и без того...»

Голоса отзвучали, и посему князь так и не узнал, кем именно считает его гофмаршал, ибо это был не кто иной, как гофмаршал со своим братом, обер-егермейстером; они-то и выскользнули из домика и вели эту странную беседу. Однако князь сразу узнал обоих по голосу.

Ясное дело, что князь счел чрезвычайно важным и безотлагательным немедленно разыскать того самого человека, того самого опасного чудодея, знакомство которого с князем пытались во что бы то ни стало предотвратить. Он постучался, вдова вышла на крыльцо со свечой в руке и, узрев пресловутую круглую шляпу и серый сюртук, с холодной учтивостью осведомилась: «Чем могу служить, *monsieur*?»¹⁴ Ибо именно так обращались к князю, когда он был переодет и, следовательно, неузнаваем. Князь стал расспрашивать о чужеземце, который, по слухам, обитает в доме вдовы, и узнал, что этот чужеземец именно и есть весьма ловкий и расторопный, знаменитый, снабженный множеством аттестатов, рекомендаций и привилегий фокусник, собирающийся продемонстрировать здесь свое удивительное искусство. Только что, рассказала вдова, двое придворных побывали у него, и он посредством совершенно необъяснимых фокусов привел их в такое изумление, что они, бледные как смерть, сбитые с толку и в совершеннейшей растерянности покинули ее скромный домик.

Прекратив свои расспросы, князь велел ввести себя в комнату чудотворца, маэстро Абрагама (ибо прославленный фокусник был маэстро Абрагам собственной персоной), тот принял его как долгожданного гостя и запер за ним дверь.

Никто не знает, что тогда проделал маэстро Абрагам, доподлинно известно лишь, что князь оставался у него всю ночь и что на следующее утро во дворце были обставлены покои, в которые перебрался маэстро Абрагам; в покои эти князь мог попадать из своего кабинета незамеченным – а именно потайным ходом. Помимо того, доподлинно известно, что князь перестал называть своего гофмаршала «*mon cher ami*»¹⁵ и больше никогда не высказывал желания

¹² Дорогой мой брат (*фр.*).

¹³ Зд.: тактичность (*фр.*).

¹⁴ Сударь (*фр.*).

¹⁵ Мой дорогой друг (*фр.*).

выслушать из уст обер-егермейстера удивительно живописный рассказ о рогатом зайце-беляке, которого он (т. е. обер-егермейстер) во время первой своей охотничьей вылазки в лес почему-то никак не мог застрелить; подобное обхождение повергло сановных братьев, т. е. гофмаршала с обер-егермейстером, в такую грусть и отчаяние, что оба они, и очень вскоре, вовсе удалились от двора. Наконец, достоверно известно, что маэстро Абрагам приводил в изумление весь двор, весь город и даже все окрестности оного не только своими фантазмагориями, но также и тем необычайным уважением и благожелательным расположением, которыми к нему все больше и больше проникался старый князь. Относительно фокусов, которые якобы показывал маэстро Абрагам, упомянутый историограф княжеского рода сообщает столько невероятного, что трудно решиться всерьез пересказывать все эти рассказы, дабы не подорвать доверие, которое, конечно, питает к нам благосклонный читатель. Впрочем, тот фокус, который наш историограф склонен считать чудеснейшим из всех прочих и, более того, о котором он замечает, что фокус этот служит несомненным доказательством тесных связей маэстро Абрагама с потусторонними духами, попросту говоря – с нечистой силой, есть не что иное, как акустический обман чувств, который впоследствии под названием «Невидимая девушка» вызывал такую сенсацию. Так вот, этот фокус маэстро Абрагам уже тогда умел проделывать более выразительно, остроумно и фантастично и куда более поражая душу, чем это впоследствии кому бы то ни было удалось осуществить.

Мимоходом следует заметить, что князь собственной персоной производил вместе с маэстро Абрагамом некие магические операции, относительно сути и назначения которых в тесном кругу придворных дам, камергеров и прочей придворной братии возникла приятнейшая перепалка, прелестнейший обмен глупейшими и бессмысленными предположениями. Все сходились в одном – а именно в том, что маэстро Абрагам демонстрирует князю процесс изготовления золота, о чем можно было заключить по дыму, который по временам валил из трубы лаборатории, и что он, Абрагам, знакомит князя со всяческими весьма полезными для его светлости духами. Кроме того, все были убеждены в том, что князь не выдаст патент новому бургомистру и не соблаговолит дать прибавку к жалованью даже придворному лейб-истопнику, предварительно не испросив на это дозволения у своего агатодемона, у доброго домашнего духа или даже у самих созвездий.

Когда старый князь скончался и Ириней унаследовал его престол и его prerogatives, маэстро Абрагам покинул страну. Юный князь, абсолютно не разделявший пристрастия своего батюшки к загадочному и чудесному, разрешил маэстро уехать, однако вскоре обнаружил, что магическая сила, присущая Абрагаму, заключается преимущественно в том, что он ухитряется заклинать некоего злого духа, с превеликой охотой гнездящегося при миниатюрных княжеских дворах, а именно адского Духа Скуки. Помимо этого, также и уважение, которым пользовался маэстро Абрагам у его отца, глубоко укоренилось в душе юного князя. Бывали мгновения, когда князю Иринею казалось вдруг, что маэстро Абрагам является каким-то сверхъестественным созданием, стоящим превыше всего человеческого, да и только ли человеческого?! Говорят, что это странное впечатление возникло у князя в результате одного трагического и абсолютно незабываемого происшествия, случившегося с Иринеем в дни его золотого детства. Будучи еще мальчуганом, он забрался однажды, побуждаемый чрезмерным ребяческим любопытством, в комнату маэстро Абрагама и по неловкости своей сломал некий крохотный механизм, который маэстро только что с величайшими трудами, тщанием и искусством соорудил, однако же маэстро, разгневавшись по случаю такой разрушительной неловкости сиятельного сорванца и шалунишки, украшенного княжеским званием, влил ему пречувствительную и полновесную оплеуху, а затем с некоторой, не совсем приятной, поспешностью выставил его из комнаты своей в коридор. Заливаясь слезами, юный принц с величайшим трудом выдавил из

себя: «Abraham – soufflet»¹⁶, так что оробевший обер-гофмейстер счел за благо воздержаться от дальнейшего проникновения в княжескую, должно быть ужасающую, тайну. Смелости его хватило лишь на то, чтобы подозревать о существовании некой страшной тайны.

Князь Ириней чувствовал жгучую необходимость удержать у себя маэстро Абрагама как животворящее начало всей придворной машинерии; тщетными оказались, однако, все его попытки вернуть фокусника и чудодея в свое княжество. Лишь после той роковой прогулки, когда князь Ириней утратил все свои владения; лишь тогда, когда он ограничился сугубо призрачным двором в Зигхартсвейлере, – лишь тогда маэстро Абрагам отыскался, всплыл; да и в самом деле, более подходящего времени для возвращения нельзя было и придумать. Ибо, кроме того что...

(*Мурр пр.*)...тому достопамятному происшествию, которое, если воспользоваться испытанным выражением утонченно мыслящих биографов, составило важнейшую главу в моей жизни.

О, читатель! – Юноши, мужчины, дамы, под чьей шкуркой бьется чувствительное сердце, ежели вы не чужды добродетели, ежели вы ощущаете и приемлете воистину сладостные узы, связующие нас с природой, – вы непременно поймете и возлюбите меня!

День выдался жаркий, я провел его, подремывая под печкой. Наконец настали сумерки, и живительный ветерок проник сквозь раскрытое в кабинете моего маэстро окно. Я пробудился от сна, грудь моя блаженно расширилась, в нее влилось некое неизъяснимое упование, которое, будучи в одно и то же время страданием и радостью, воспламеняет в груди нашей сладчайшие предчувствия. Весь во власти этих упоительных предчувствий, я вскочил и преизящно выгнул спинку – движение это холодные и рассудочные люди именуют «кошачьим горбом». На волю, на волю захотелось мне – на лоно природы, и я устремился на крышу и стал неспешно прогуливаться там в лучах заходящего солнца. Вот тут я и услышал какие-то звуки, доносящиеся с чердака; такие кроткие, приятные, уютные, нежные, такие знакомые, такие призывные: нечто неведомое повлекло меня вниз с непреодолимой силой. Я покинул прелестную природу, пролез в узенькое слуховое окно и оказался на чердаке. Спрыгнув с окна, я сразу заметил крупную, необычайно красивую кошку – белую в черных пятнах; кошка эта, со спокойным изяществом восседая на задних лапах, как раз и издавала те неизъяснимо влекущие звуки; я был замечен ею, и меня буквально пронзил ее молниеносный испытующий взор. Мгновенно я уселся против нее и попытался, подчиняясь внутреннему влечению, подпевать той песенке, которую завела пятнистая особа. Это удалось мне, готов признаться, сверх всякой меры превосходно, и с этого-то мгновения (делаю это замечание для психологов, которым предстоит фундаментально изучать меня и жизнь мою) я и уверовал в свой скрытый музыкальный талант, мне думается, что именно с этой верой возник и самый талант. Тут пятнистая дама, еще внимательней и пристальней взглянув на меня, внезапно сильным прыжком метнулась ко мне. Я, не ожидая от нее ничего хорошего, счел за благо показать свои коготки, но в этот миг пятнистая, проливая светлые слезы, вскричала: «Сын мой – о сын мой! Поспеш! – приди в объятия мои!» – И затем, пылко прижимая меня к своей груди, она пролепетала: «Да, это ты, ты мое дитя, мой добрый сынок, коего я породила – нельзя сказать, чтобы в особых муках!»

Я ощутил глубочайшее волнение, затрепетали наискровеннейшие недра моего естества, и уже самое это чувство должно было убедить меня, что пятнистая и впрямь – моя матушка, однако, невзирая на все это, я все же спросил ее, вполне ли она в этом уверена.

– О, это сходство, – воскликнула пятнистая, – это разительное сходство, эти глаза, эти черты, эти пышные бакенбарды, эта полосатая шкурка – все это живо, даже с чрезмерной живостью напоминает мне того неверного, того неблагодарного, который так зверски покинул меня! Ты истинный портрет своего папеньки, мой милый Мурр (ведь тебя так зовут, не правда ли?),

¹⁶ Абрагам – пощечина (*фр.*).

я надеюсь, однако, что ты вместе с красотой отца унаследовал более мягкий характер, более кроткий нрав своей матери Мины. Отец твой обладал весьма внушительными манерами и горделивой осанкой, чело его блистало чувством собственного достоинства, необыкновенным глубокомыслием сверкали его зеленые глаза, и обворожительная усмешка нередко играла на его устах. Эти несомненные телесные преимущества, а также его живой и резвый ум, не говоря уже о грациозности, с которой он проворно ловил мышей, мгновенно покорили мое женское сердце. Вскоре, однако, обнаружился его жестокий тиранический характер, а ведь поначалу он его так ловко скрывал! – С ужасом произношу я эти слова! – Едва ты родился, как твой отец ощутил роковое желание сожрать тебя вкупе с твоими ни в чем не повинными братцами и сестричками...

– Дражайшая матушка, – прервал я тираду моей пятнистой собеседницы, – дражайшая матушка, не стоит так уж проклинать эти папенькины порывы! Разве эллины – просвещеннейшие люди – не приписывали своим богам престранной склонности к пожиранию собственных детей, но Юпитер был спасен, вот и я тоже!

– Я не понимаю тебя, сын мой, – возразила Мина, – но мне кажется, что ты либо мелешь чушь, либо вознамерился защищать своего отца. Не проявляй черной неблагодарности: ты непременно был бы задушен и сожран кровожаднейшим тираном, если бы я не защищала тебя с неописуемой отвагой этими вот самыми преострыми когтями; если бы я, обегав подвалы, чердаки и конюшни, не уберегла бы тебя от коварных преследований этого извращенного варвара. Наконец он бросил меня, и с тех пор я ни разу его не видала! И все-таки сердце мое еще сладостно трепещет при одном воспоминании о нем! Какой это был великолепный кот! Многие – по его осанке, по его утонченным манерам – принимали его за путешествующего графа... Теперь-то, думалось мне, я поведу наконец тихое, спокойное существование в тесном семейном кругу, выполняя свой материнский долг, но ужасающий удар должен был вот-вот поразить меня. Однажды, вернувшись домой после небольшого променада, я обнаружила, что ты исчез, бесследно, вместе с твоими братцами и сестрицами! Некая старуха, отыскав меня за день до того в моем укромном убежище, стала плести что-то о том, чтобы, дескать, пошвырять весь этот выводок в пруд – и так далее и тому подобное! Ах, какое счастье, что ты, сынок, спасся! Приди же снова на грудь мою, любимый отпрыск мой!

Пятнистая матушка обласкала меня со всей нежностью и сердечностью и потом стала с пристрастием допытываться у меня о прочих подробностях моей жизни. Я рассказал ей все и не преминул упомянуть при этом о моей незаурядной образованности и о том, как я дошел до такой ученой жизни.

Однако пятнистую маменьку Мину мои редкостные достоинства тронули куда меньше, чем я предполагал. И более того! Она ясно дала мне понять, что я – с моим из ряда вон выходящим умом, с моей глубокой ученостью – сошел с пути истинного и что это может даже погубить меня. И еще она предупредила меня, что я не должен открывать моих новообретенных познаний моему хозяину – маэстро Абрагаму, ибо этот последний непременно воспользуется ими лишь затем, чтобы обратить меня в тягчайшую и безысходнейшую холопскую зависимость.

– Я, конечно, не могу похвалиться, – говорила мне Мина, – такой образованностью, как твоя, но тем не менее я отнюдь не лишена природных способностей и чрезвычайно приятных, самой природою мне дарованных талантов. К ним я причисляю, скажем, способность извлекать из шкурки моей потрескивающие искры, когда люди меня гладят по спинке. И каких только неприятностей не испытала я из-за одного лишь этого единственного дарования! Детвора и взрослые непрестанно терзают и тормозят мне спинку ради такого фейерверка, немилосердно мучая меня при этом. А тогда, когда я малодушно отпрыгиваю или показываю когти, мне приходится выслушивать всякого рода обидные замечания, меня называют строптивой и дикой тварью, а порой даже и колотят слегка. Так вот, как только маэстро Абрагам удостоверится, что ты умеешь писать, милейший Мурр, он закабалит тебя, превратит тебя в безропотного писца

и копииста и тягчайшею повинностью твоею станет то, что ты теперь делаешь с радостью и наслаждением, по собственной своей охоте!

Мина еще долга распространялась о моих взаимоотношениях с маэстро Абрагамом и о моей высокой образованности и начитанности. Лишь много позже я уразумел, что то, что я считал в ней отвращением к наукам и знаниям, было на самом деле истинной житейской мудростью, неистощимым кладезем которой являлась моя пятнистая маменька.

Я узнал, что Мина живет у престарелой соседки, узнал, что родительница моя очень и очень нуждается и что ей порою стоит немалых трудов утолить голод. Это глубоко тронуло меня, сыновняя любовь мощно пробудилась в моей груди, я вспомнил о великолепной селедочной голове, припрятанной мною от вчерашней трапезы, и твердо решил презентовать ее моей новообретенной родительнице.

Но кто сможет измерить все сердечное непостоянство, всю изменчивость тех, которые блуждают под луной, озаряемые ее неверным светом! Почему судьба не замкнула нашу грудь, дабы не превратить ее в игральное роковых и пагубных страстей. Почему мы, подобно хрупкому, колышущемуся тростнику, вынуждены покорно склоняться под житейским ураганом? О, враждебный, о, неумолимый рок! «О аппетит – тебя котом зову я!» Итак, с селедочной головой в зубах взобрался я, словно *pīus Aeneas*¹⁷, на крышу и уже вознамерился было пролезть в чердачное оконце.

Вот тут-то я и испытал совершенно своеобразное ощущение: мое «я» было решительно чуждо моему истинному «я», но в то же время вернейшим образом отображало некие затаенные порывы моего сокровеннейшего «я».

Полагаю, что выразился вполне вразумительно и четко, так что в этом описании моего удивительного состояния всякий сможет увидеть, с каким необычайным рвением, свойственным разве что прирожденным психологам, я отважно проникаю в заветные пучины и бездны нашей души. – Стало быть, я продолжаю!

Поразительное чувство, как бы сотканное из пылкого желания и вялой неохоты, овладело мною, оно пересилило меня – ни о каком сопротивлении не могло быть и речи, увы, я сожрал, я слопал эту дивную селедочную голову!

Робко прислушивался я к трогательному мяуканью Мины, боязливо слушал, как она, бедняжка, звала меня по имени. Раскаяние и стыд охватили меня; я влетел в кабинет моего маэстро и забрался под печку. И тут меня стали терзать самые ужасающие видения, самые жуткие призраки. Перед моими очами была Мина, вновь обретенная пятнистая маменька, покинутая мною в полном отчаянии, голодная, безутешная, жаждущая дивного, необдуманно обещанного мною лакомства. Мина, готовая лишиться чувств... – Чу! – это ветер, завывающий в дымоходе, произнес имя Мины; – Мина, Мина, – шелестело и шуршало в бумагах моего маэстро. Мина, – поскрипывали хрупкие бамбуковые стулья. Ах, Мина-Мина, – всхлипывала печная заслонка. О! Это было горестное, душераздирающее чувство, и это чувство пронизывало меня! Я решил, как только представится возможность, пригласить как-нибудь поутру мою бедную матушку полакать со мной молочка. Ах, что за освежающая, что за благодатная и благодетельная мысль осенила меня, какое восхитительное успокоение ощутил я вдруг. Я прижал уши и заснул блаженным сном!

О вы, тончайшие, о вы, чувствительные души, вы, всецело понимающие меня; вы увидите еще, ежели вы, конечно, не ослы, а истинные добропорядочные коты, вы увидите и постигнете, говорю я, что эта буря в груди моей прояснила небеса моей юности, – не так ли благодетельный ураган разгоняет мрачные тучи и открывает взору беспредельные лазурные дали?! Роковая селедочная голова тяжко обременила мою душу и совесть, но зато я постиг, что есть аппетит, какова его сила и до чего же кошунственно и святотатственно противиться зову матери-

¹⁷ Благочестивый Эней (лат.).

природы! Итак, пусть каждый ищет свою селедочную голову и не пытается перебежать дорогу другим расторопным и сообразительным собратьям своим, каковые, ведомые инстинктивным чутьем и здоровым аппетитом, припасают оные головы для собственного употребления!

(Мак. л.)...нет ничего более несносного для историографа или биографа, чем когда он, как бы мчась на необъезженном скакуне, вынужден лететь по ухабам и буеракам, по пашням и лугам в безуспешных поисках надежного пути. Нечто подобное происходит и с тем, кто вознамерился, о благосклонный читатель, запечатлеть на бумаге то, что ему известно о необыкновенной жизни капельмейстера Иоганна Крейслера. С превеликой охотой биограф начал бы следующим образом: «В маленьком городке Н. или Б. или К., в Троицын день или на Пасху, в таком-то и таком-то году явился на свет Иоганнес Крейслер»! Но такого рода образцовый хронологический порядок весьма нелегко соблюсти, ибо злополучный повествователь располагает лишь известными, да и то сугубо отрывочными сведениями, которые непременно следует подвергнуть литературной обработке, покамест они окончательно не выветрились из его памяти. Как, собственно, собирались и накапливались эти драгоценные крохи, ты, любезный мой читатель, непременно узнаешь еще до конца этой книги и тогда, быть может, не вменишь в вину составителю ее несколько рапсодический характер и, пожалуй даже, убедишься в том, что она лишь на первый взгляд представляется несколько отрывочной и хаотичной, а на деле все ее фрагменты связаны некоей крепкой и прочной нитью.

Пока что продолжаю: не слишком много времени прошло с тех пор, как князь Иринея поселился в Зигхартсвейлере, и вот однажды вечером, чудным летним вечером, принцесса Гедвига и Юлия гуляли в прелестном зигхартсхофском парке. Словно золотая пелена, расстилалось и искрилось над деревьями сияние заходящего солнца. Листва была совершенно недвижима. В молчании, исполненном предчувствий, деревья и кусты словно обращались с немой мольбой к вечернему ветру, будто умоляя его прилететь и обласкать их. Одно только журчание лесного ручейка, прыгающего по белеющим камешкам, нарушало эту очарованную тишину. Девушки молча бродили, взявшись за руки, по узеньким аллеям, вьющимся между цветочными клумбами, перебирались по узеньким мостикам, переброшенным через капризные извилины ручья, покамест не дошли до конца парка, до большого озера, в котором отражался отдаленный утес Гейерштейн и венчающие его живописные руины.

– Какая красота, – от всей души воскликнула Юлия.

– Давай, – сказала Гедвига, – зайдем в рыбацкую хижину. Вечернее солнце печет немилосердно, а изнутри сквозь среднее окно – вид на Гейерштейн еще лучше, чем отсюда, ибо весь окрестный пейзаж предстает оттуда не в виде панорамы, а как бы отдельными группами, вместе образующими настоящую картину.

Юлия пошла вслед за принцессой, а принцесса, едва войдя в хижину, бросив взгляд в окно, стала сожалеть, что у нее нет с собой карандаша и бумаги, чтобы запечатлеть пейзаж в том освещении, которое она называла необыкновенно эффектным и, более того, – дразнящим воображение.

– Мне почти хочется, – сказала Юлия, – мне почти хочется позавидовать твоей способности с таким искусством запечатлевать деревья и кусты, горы, холмы и озера точь-в-точь такими, каковы они в природе. Но я знаю уже, что если бы я тоже умела так чудно рисовать, как ты, то все-таки мне никогда не удалось бы изобразить пейзаж таким, каков он в натуре, и чем прекраснее пейзаж, тем труднее мне приняться за него. Я созерцала бы его с таким восторгом и радостью, что, пожалуй, так и не смогла бы приняться за дело! – При этих простодушных словах Юлии лицо принцессы озарила некая странная для шестнадцатилетней девушки усмешка, и усмешка эта была просто поразительной, чтобы не сказать более. Маэстро Абрагам, который порой выражался несколько витиевато, говаривал, что подобного рода смену выражения лица можно сравнить разве что с престранной рябью, возникающей на поверхности тогда, когда в пучине движется нечто опасное и грозное. Так или иначе, принцесса Гедвига улыбнулась: она

чуть приоткрыла розовые уста, чтобы что-то возразить кроткой и прямодушной Юлии, как вдруг совсем рядом зазвучали аккорды – удары по струнам были так громогласны и наносились с такой дерзновенной силой, что невозможно было поверить, что это самая обычная гитара!

Принцесса онемела от неожиданности и вместе с Юлией выбежала из рыбацкой хижины.

Теперь зазвучали одна за другой поистине чудесные мелодии, связанные удивительнейшими переходами, необычайнейшими последовательностями аккордов.

В музыку вплетался звучный мужской голос, а в нем то звучала вся сладостность напевов Италии, то, внезапно прервав эти нежные рулады, певец начинал серьезную и грустную мелодию; порою он вдруг переходил на речитатив, особенно выразительно акцентируя в нем отдельные слова.

Певец настраивал гитару, потом снова брал аккорды – затем вновь прерывал и вновь настраивал, – потом раздавались гневные, словно бы в ярости вырвавшиеся слова – потом вновь мелодии – и вновь звуки настройки.

Заинтересованные тем, что это за удивительный виртуоз, Гедвига и Юлия подкрадывались все ближе и ближе, пока не увидели человека в черном, который сидел спиной к ним на обломке скалы, у самого озера; он играл замечательно и вдохновенно, порою же начинал петь и даже разговаривать с самим собою.

Вдруг он перестроил гитару на какой-то необыкновенный лад и, беря отдельные аккорды, восклицал в паузах между ними: «Опять не так – нет чистоты – то чуть-чуть ниже, то чуть-чуть выше, чем следует!»

Засим он высвободил инструмент, распустив голубую ленту, на которой у него через плечо висела гитара, схватил ни в чем не повинную певунью обеими руками и, держа ее перед собой, заговорил: «Скажи мне, ты, своевольница, где же, собственно, укрылось твое благозвучие, в каком уголке твоего нутра прячется чистая гамма? Или, быть может, ты хочешь восстать против своего хозяина, дерзко уверяя, будто уши его заколочены наглухо увесистыми кувалдами «Хорошо темперированного клавира» и что энгармонизм его всего лишь ребячья забава? Мне почему-то кажется, что ты измываешься надо мной, невзирая на то что я выбрит куда тщательней, чем твой мастер Стефано Пачини „detto il Venetiano“¹⁸, он-то и вдохнул в твою грудь дар гармонии и благозвучия, остающийся для меня неразгаданной тайной. Запомни, пожалуйста, милочка, ежели ты не позволишь мне взять в унисон Gis и As или Es и Dis да и решительно все другие тональности, то я найшу на тебя девять учнейших немецких мастеров, пусть они тебя выбранят, пусть они усмирят тебя и укротят своими довольно-таки негармоничными словечками! И не бросайся, как всякая сварливая баба, чтобы за тобой непременно осталось последнее слово! – Или, может быть, ты даже столь дерзка и горделива, что полагаешь, будто все пленительные колдовские духи, которые живут в тебе, повинуются только чарам могущественных чудодеев, которые давно уже покинули юдоль сию, и что в руках робкого недоучки...»

Сказав это, незнакомец внезапно смолк, встал, выпрямился и весьма глубокомысленно стал глядеть в озеро. Девушки, заинтригованные странным поведением этого человека, застыли за кустами как вкопанные и едва решались дышать.

– Гитара, – наконец вырвалось у него, – да ведь это же самый никчемный, самый несовершенный инструмент, годный разве что на то только, чтобы служить при случае воркующим пастушкам, ежели те, скажем, потеряли амбушюр к свирели, в противном случае они бы, конечно, предпочли дуть в свои дудочки, пробуждая эхо, посылая жалобные мелодии горы туда, к своим эммелинам, которые стоняют милых овечек, пощелкивая сентиментальными бичами своими! О господи! пастушки, которые «вздыхают словно печи, своих любимых грустно воспевая», – научите их, что трезвучие состоит не из чего иного, как всего лишь из трех звуков, и его зака-

¹⁸ Именуемый венецианцем (*ит.*).

лывают насмерть кинжальным ударом септимы, а уж затем вручите им, пожалуйста, печальницу-гитару! Но серьезным господам, весьма образованным и эрудированным, прекрасно разбирающимся в греческом любомудрии и отлично знающим, как идут дела при пекинском или нанкинском дворе, но ровно ничего не смыслящим в пастушеском ремесле и в откорме баранов, что им все эти вздохи и бряцания? Ах, жалкий скоморох, ну что ты затеял?! Вспомни о покойном Гиппеле, который уверял, что, когда он видит педагога, дающего уроки колочения по клавиатуре, ему кажется, что помянутый педагог варит яйца всмятку – окунул и вытащил, сунул и вытащил, – и вот теперь – бряцание гитары – ах ты, шут гороховый, – тьфу дьявол! Ко всем чертям ее! – Сказав это, престранный человек швырнул гитару в кусты как можно дальше и удалился, так и не заметив девушек.

– Ну, – смеясь вскричала Юлия после непродолжительного молчания, – ну, Гедвига, что скажешь ты об этом поразительном явлении? Откуда он, этот престранный господин, который сперва так прелестно беседовал со своим инструментом, а потом с таким пренебрежением отшвырнул его, будто сломанный коробок!

– Это невозможно, – сказала Гедвига как бы в приступе внезапного гнева, причем щеки ее вдруг заалели как кровь. – Это недопустимо, что ворота парка стоят открытые настежь и что любой проходимец, любой встречный может проникнуть сюда.

– Как, – возразила Юлия, – князю следовало бы, ты полагаешь, запереть ворота перед зигхартсвейлерцами – нет, не только перед ними одними, но и перед каждым, кто идет по дороге, – скрыть от людских глаз прелестнейшие уголки всей здешней местности! Неужто ты и в самом деле думаешь так?

– Ты не представляешь, – продолжала принцесса живее, – ты не представляешь себе опасности, которая вследствие этого возникает для нас. Как часто бродим мы здесь так, одни, как сегодня, одни и вдали от какой бы то ни было челяди, в отдаленнейших аллеях этого леса. А что, если вдруг какой-нибудь злоумышленник?..

– Вот именно! – прервала Юлия принцессу. – Мне даже чудится уже, что из этого или вон того куста возьмет да и выглянет какой-нибудь неотесанный сказочный великан или выпрыгнет вдруг некий сказочный рыцарь-разбойник, чтобы похитить нас и уволочь в свой замок! Нет, нет! Упаси боже! Об этом не стоит и думать! Но я все-таки должна тебе признаться, что какое-нибудь небольшое приключение здесь – в таком уединенном романтическом лесу – показалось бы весьма заманчивым, красивым, даже прелестным! Мне вспомнилось, кстати, шекспировское «Как вам это понравится» – помнишь, матушка так долго не разрешала нам читать эту пьесу, которую нам в конце концов прочитал Лотарио? Сознайся, ты с превеликой охотой сыграла бы роль Селии, а я стала бы твоей верной Розалиндой? Ну а какую роль мы предложим нашему таинственному виртуозу?

– О, – воскликнула принцесса, – все дело именно в этом незнакомце! Поверишь ли ты, Юлия, весь его облик, его удивительные речи возбудили во мне ужас, необъяснимый ужас. Еще и нынче я трепещу от страха, я во власти темного чувства, странного и ужасного в одно и то же время, и чувство это будто сковало меня. В сокровенных глубинах моей души таится некое неясное воспоминание, тщетно пытаюсь обрести четкие контуры. Я уже видела некогда этого человека, и облик его сочетается в моей памяти с каким-то ужасным событием, истерзавшим мое сердце, – быть может, это был лишь призрачный сон, воспоминание о котором доселе таится в памяти моей, – но довольно, – человек этот с его диковинным поведением, с его несуразными речами напомнил мне какое-то опасное призрачное существо, которое, быть может, пытается вовлечь нас в свои пагубные волшебные круги!

– Что за капризы воображения, – воскликнула Юлия. – Я с моей стороны сочла бы этот черный призрак с гитарой месье Жаком или даже достопочтенным Оселком, философия коего живо напоминает чудаческую болтовню некоего незнакомца. Но теперь нам следует прежде

всего спасти эту прелестную вещицу, которую этот варвар с такой враждебностью и неприязнью швырнул в кусты!

– Юлия, ради всего святого, что ты делаешь? – воскликнула принцесса, но Юлия, не обращая на нее внимания, рванулась в самую гущу кустарника и несколько мгновений спустя, торжествуя, вернулась с гитарой в руках – с той самой гитарой, которую швырнул в кусты чужак-незнакомец!

Принцесса преодолела свой страх и стала чрезвычайно внимательно рассматривать инструмент, необычная форма которого уже сама по себе свидетельствовала о его старинности, о его почтенном возрасте, если бы даже эти обстоятельства не подтверждались датой и именем мастера, которые были видны сквозь отверстие в деке. А именно – черным – были отчетливо вытравлены слова: «Stefano Pacini, fec. Venet. 1532»¹⁹.

Юлия не смогла удержаться, взяла аккорд на этом дивном, изящном инструменте и почти испугалась, услышав, какой полный и сильный звук издает эта маленькая гитара. – «Какая прелесть!» – воскликнула она, продолжая музицировать. Но так как она привыкла играть на гитаре, лишь аккомпанируя собственному пению, то вскоре невольно запела, идя по аллеям парка. Принцесса молча следовала за ней, Юлия замедлила шаг, и тут заговорила Гедвига: «Пой, играй на этом волшебном инструменте, – быть может, тебе удастся вновь загнать в преисподнюю злых духов, которые хотят приобрести власть надо мной!»

– Ах, ты опять об этой нечисти! – возразила Юлия. – Она должна быть чужда нам обоим и останется чужда. Ну а мне нынче хочется петь и играть, ибо я не думала, что когда-нибудь какой-нибудь инструмент мне так придется по руке. Да и вообще так придется по душе, как этот. Мне кажется даже, что и голос мой под его аккомпанемент звучит куда лучше, чем обычно. – Она запела знаменитую итальянскую канцонетту и чуть было не заблудилась во всяческих прелестных мелизмах, головоломных пассажах и каденцах, давая волю великолепному богатству звуков, так долго таившихся в ее груди.

Если принцесса испугалась при первом появлении незнакомца, то Юлия оцепенела, как будто превратившись в кариатиду, когда он внезапно вырос перед ней, собиравшейся свернуть в другую аллею.

Незнакомцу на вид было около тридцати. Он был весь в черном, платье его было сшито по последней моде. Во всем его наряде не было ничего необычного, и все же он выглядел несколько странно, чужаковато. Одет он был тщательно, но в нем была заметна какая-то небрежность, проистекающая, быть может, не столько от отсутствия заботливости и внимания, сколько от того, что незнакомцу пришлось проделать немалый путь, на который его наряд отнюдь не был рассчитан. Жилет его был расстегнут, галстук распустился, туфли густо покрыты пылью, да так, что золотые пряжки на них были едва видны; он стоял перед ними и выглядел при этом весьма сумасбродно и странно; особенно забавным было то, что он на маленькой треугольной шляпе, явно предназначенной лишь для того, чтобы носить ее под мышкой, опустил заднюю кромку, желая защитить себя от солнца. Должно быть, он пробился сквозь глубочайшие дебри парка, ибо его густые, всклокоченные черные волосы были полны хвойных игл. Он мельком взглянул на принцессу и затем направил одухотворенный, сверкающий взгляд своих больших черных глаз на Юлию, которая смутилась от этого еще более, так что у нее, как это всегда бывало с ней в такого рода случаях, слезы выступили на глазах.

– И эти небесные звуки, – начал наконец незнакомец мягким, кротким голосом, – и эти небесные звуки смолкают при моем появлении и растворяются в слезах?

Принцесса, борясь с первым впечатлением, которое незнакомец произвел на нее, надменно взглянула на него и довольно резко сказала: «Во всяком случае, нас поражает ваше вне-

¹⁹ Сделал Стефано Пачини, Венеция, 1532 (ит.).

запное появление здесь, сударь! В такую пору в княжеском парке никто уже не ожидает встретить посторонних! Я – принцесса Гедвига».

Как только принцесса заговорила, незнакомец мгновенно повернулся к ней и посмотрел ей прямо в глаза, но весь его облик, казалось, преобразился. – Исчезло выражение печали и тоски, растаял всякий след глубокого душевного волнения, диковато-искаженная усмешка усугубляла выражение горестной иронии – в лице этом было что-то потешное, даже более того, шутовское. Принцесса запнулась. Как будто электрический удар поразил ее; она не проронила больше ни слова, все лицо ее запылало, и она стыдливо потупилась.

Казалось, будто незнакомец хочет что-то сказать, но в этот миг заговорила Юлия: «Разве я не глупое, бестолковое создание, что пугаюсь, плачу, будто маленькая проказница, которую застали поедающей сласти! – Да, сударь, я лакомилась, и лакомством моим были восхитительные аккорды вашей гитары – во всем виноваты гитара и наше девичье любопытство! Мы слушали вас, мы слышали, как вы вели прекрасные беседы с этой гитарой и как вы ее потом гневно швырнули в кусты, так что ваша гитара издала громкий и жалобный вздох. И это меня так глубоко поразило, что я устремилась в чашу, чтобы поднять ваш прекрасный и милый инструмент. Теперь вы знаете, каковы мы, девушки: я немножко поигрываю на гитаре, а теперь вдруг пальцы мои слились с инструментом, и – я не могла выпустить гитару из рук. Простите меня, сударь мой, и примите ваш инструмент».

Юлия протянула гитару незнакомцу.

– Это, – сказал незнакомец, – редкостный и чрезвычайно звучный инструмент еще добрых былых времен, который сейчас лишь в моих неловких руках, но что руки, что руки! Не в них дело!

Волшебный дух Гармонии, дружный с этой удивительной вещицей, живет также и в моей груди, но как бы запеленутый, не имеющий возможности сделать ни одного движения; но из ее нутра, о сударыня, он, этот дух, взмывает ввысь к осиянным небесным чертогам, переливаясь тысячами красок, подобно сверкающему павлиньему глазу!

О сударыня, когда вы пели, вся томительная боль любви, весь восторг сладостных упований, надежд, желаний пролетел, колыхаясь, по лесу и проник освежающей живительной росой в благоухающие цветочные венчики, в грудь чутко внемлющих соловьев! Возьмите эту гитару, только вы повелеваете чудесами, которые заключены в ней!

– Но ведь вы отбросили гитару прочь, – возразила Юлия, зарумянившись.

– Это правда, – сказал незнакомец, порывисто схватив гитару и прижав ее к груди. – Это правда, я отшвырнул ее и принимаю назад исцеленной; никогда больше я не выпущу ее из рук.

Внезапно лицо незнакомца вновь превратилось в некую капризную маску, и он произнес высоким и резким тоном: «Собственно, моя судьба или же мой злой демон сыграли со мною презлую шутку, что я здесь так *ex abrupto*²⁰, как выражаются латинисты и прочие высокоученые и добропорядочные люди, принужден предстать перед вами, мои глубокоуважаемые дамы! О всемилостивейшая принцесса, соблаговолите, бога ради, оглядеть меня с головы до пят! Ведь, оглядев меня, вы обратите внимание на тщательность моего туалета и сможете сделать вывод, что я как раз собираюсь делать визиты. Я как раз намеревался заглянуть в Зигхартсвейлер и оставить в этом милом городе если не себя, то, во всяком случае, свою визитную карточку. О господи, – разве у меня мало светских знакомств и связей, милостивейшая принцесса? Разве гофмаршал вашего батюшки не был моим сердечным другом? Я уверен, что если бы он увидел меня здесь, то непременно прижал бы меня к своей атласной груди и промолвил бы, глубоко растроганный, раскрыв передо мною свою табакерку: „Здесь мы одни, дорогой мой друг, здесь вольно моему сердцу и чувствам моим!“ Я обязательно получил бы аудиенцию у всемилостивейшего повелителя, князя Ириней, – и, конечно же, был бы представлен также и вам,

²⁰ Внезапно (*лат.*).

о принцесса! Был бы представлен таким образом, что – ставлю мою лучшую упряжку септаккордов против одной оплеухи – сумел бы завоевать вашу благосклонность! Но что поделаешь – здесь, в саду, в самом неподходящем месте, между утиным прудом и лягушечьей канавкой, я вынужден сам представиться вам, к вечному моему несчастью! О господи, если бы я имел храбрость хоть чуточку колдовать, если бы только мог subito²¹ превратить эту вот благородную зубочистку в наряднейшего камергера из числа придворных сиятельного князя Иринейя, в камергера, который взял бы меня за полу и сказал бы: „Всемиловитейшая принцесса, перед вами – господин такой-то и такой-то!“ Но теперь *che far, che dir!*²² Сжальтесь – сжальтесь надо мною, о принцесса, о глубокоуважаемые дамы и господа!»

С этими словами незнакомец бросился на колени перед принцессой и пронзительно запел «Ah, pietà, pietà, signora!»²³

Принцесса схватила Юлию за руку и пустилась во весь дух бежать вместе с ней, громко восклицая: «Он сумасшедший, сумасшедший, он сбежал из дома помешанных!»

Почти перед самым замком появилась советница Бенцон, шедшая навстречу девушкам, которые так запыхались, что чуть не упали к ее ногам. «Что случилось, ради всего святого, что случилось, от кого это вы пустились бежать?» – вопрошала советница. Принцесса была так взволнована, что смогла лишь пролепетать несколько слов о каком-то сумасшедшем, который набросился на них. Юлия спокойно и сдержанно рассказала, как произошла эта встреча, и закончила тем, что она отнюдь не считает незнакомца сумасшедшим, а разве что каким-то насмешливым проказником, что она сочла его чем-то вроде месье Жака, персонажем, вполне пригодным для комедии, действие которой происходит в Арденском лесу.

Советница Бенцон велела повторить ей все как было, она расспрашивала о мельчайших подробностях, заставила подробно описать ей незнакомца – его походку, осанку, ухватки – даже тон речей и т. д. «Да, – воскликнула она, – да, конечно, это он, несомненно, он, – не похожий ни на кого другого».

– Кто он – кто это такой? – нетерпеливо спросила принцесса.

– Не волнуйся, милая Гедвига, – ответила Бенцон, – вы напрасно сбились с ног, этот незнакомец, который показался вам таким грозным и опасным, вовсе не сумасшедший. Хотя он в присущей ему чудаческой манере позволил себе с вами пошутить, я полагаю все же, что вы с ним еще непременно помиритесь!

– Никогда, – воскликнула принцесса, – никогда не пожелаю видеть его, этого нелепого и несуразного шута!

– Ах, Гедвига, – смеясь проговорила советница Бенцон, – какой поразительный дух подсунил вам это «несуразного» – словечко, которое ко всему этому происшествию подходит гораздо более, чем вы, пожалуй, сами думаете и предполагаете!

– Я тоже не понимаю, – сказала Юлия, – как ты можешь так дуться на незнакомца, милая Гедвига! Даже в самых его нелепых поступках, в самых его бессвязных речах было что-то странное, но вовсе не противное.

– Счастливая ты, – возразила принцесса, и слезы хлынули у нее из глаз, – счастье твое, что ты способна оставаться такой спокойной и рассудительной, а мою душу терзают насмешки этого ужасного человека. Ах, Бенцон! Кто же он такой, кто он, этот безумец?

– Я вам все объясню в двух словах, – сказала Бенцон. – Когда пять лет тому назад я находилась...

(*Мурр пр.*)...который убедил меня, что в бездонной душе настоящего поэта чистота, свойственная ребенку, уживается с состраданием к бедствиям ближних.

²¹ Вдруг (*лат.*).

²² Что делать, что говорить! (*ит.*)

²³ Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора! (*ит.*)

Меланхолическая грусть, нередко омрачающая душу юных романтиков, когда в груди у них идет титаническая борьба великих и возвышенных помыслов, заставляла меня искать уединения. В течение длительного времени я не бывал ни на крыше, ни в погребе, ни на чердаке. Подобно незабвенному поэту, захотелось мне вкусить приятность идиллических радостей жизни в скромной хижине – в маленьком домике, осененном сумрачной листвой плакучих ив и берез, – поэтому я предавался мечтаниям и грезам, не вылезая из-под печки. Вот так и вышло, что мне не доводилось больше видаться с Миной, моей грациозной пятнистой маменькой. Науки утешили и успокоили меня! О, есть нечто чудесное, нечто великолепное в науках! Да славится, вовеки славится тот благородный муж, который изобрел их. – Насколько прекраснее, насколько полезнее сие изобретение, чем выдумка того монаха, который первым стал изготавливать порох, вещь, которая мне по природе своей и действию своему противна до смерти. Справедливый суд потомства казнит презрением этого гнусного варвара, этого адского злодея Бертольда, ведь еще в наши дни, желая восхвалить и превознести какого-либо особо проницательного ученого, историка с широким кругозором – одним словом, всякого высокообразованного индивида, к нему применяют вошедшие в поговорку слова: «Этот, мол, пороха не выдумает!»

В поучение подающему большие надежды кошащему юношеству я не могу не упомянуть о том, что, когда мне приходила охота что-нибудь проштудировать, я, зажмурившись, прыгал прямо в книжный шкаф моего маэстро и, вцепившись когтями в какую-нибудь книгу, вытаскивал ее и прочитывал, причем мне было совершенно безразлично, каково ее содержание. Благодаря такому методу обучения разум мой приобрел ту гибкость и многосторонность, а мои знания – то дивное богатство и ослепительную пестроту, которым будет дивиться благородное потомство. Я не стану здесь упоминать названия множества книг, которые я перечитал в этот период поэтической грусти, отчасти потому, что для этого, пожалуй, отыщется более подходящее место, а отчасти потому, что я совершенно забыл названия этих книг, а это, в свою очередь, до некоторой степени вызвано было тем, что я, как правило, никогда не утруждал себя чтением заглавий, следовательно, никогда их не знал.

Всякий, думается, удовольствуется этим объяснением и не станет винить меня в биографическом легкомыслии.

Мне предстояли новые опыты и передраги.

В один прекрасный день, когда мой маэстро как раз углубился в некий внушительный фолиант, раскрытый перед ним, а я, расположившись у самых его ног и лежа под письменным столом на листе прекрасной королевской бумаги, пытался писать по-гречески (а греческая пропись превосходно была усвоена мною, и я, так сказать, набил на ней лапу), в кабинет стремительно вошел молодой человек, которого я уже неоднократно видел у моего маэстро и который всегда обращался ко мне с дружеским уважением, более того, с весьма лестным почтением, как и следует обращаться к экстраординарному таланту и решительному гению. Он не только приветствовал маэстро, но и обращался ко мне: «Доброе утро, котик!» – и каждый раз легонько при этом щекотал меня за ушами и нежно гладил по спине. Подобное его поведение воистину ободряло меня – мне хотелось извлечь свои внутренние дарования и озарить их сиянием вселенную!

Однако нынче все должно было принять иной оборот!

А именно, чего никогда не бывало прежде, вслед за молодым человеком в комнату впрыгнуло какое-то черное, лохматое чудовище с пылающими глазами и, завидя меня, подскочило прямо ко мне. Мной овладел приступ неопишемого страха, одним прыжком я оказался на письменном столе моего маэстро и возопил от ужаса и отчаяния, чудовище же, совершив неимоверно высокий прыжок, также оказалось на столе и при этом произвело отчаянный шум. Мой добрый маэстро, которому сделалось боязно за меня, взял меня на руки и сунул под свой шлафрок. Однако молодой человек сказал: «Не тревожьтесь, милый маэстро Абрагам. Мой пудель

вовсе не трогает кошек, просто ему хочется поиграть. Если вы посадите кота обратно на пол, вас очень позабавит, как эти зверушки, мой пудель и ваш кот, сведут знакомство друг с другом».

Мой маэстро и в самом деле хотел спустить меня на пол, но я накрепко вцепился в него и стал горестно мяукать, благодаря чему я, по крайней мере, добился того, что маэстро, усевшись вновь, стал терпеливо сносить мое присутствие рядом с ним на стуле.

Воодушевленный тем, что меня защищает мой маэстро, я принял, сидя на задних лапах и обернувшись хвостом, достойную позу, благородная гордость которой должна была импонировать моему предполагаемому черному недругу. Пудель уселся передо мной на пол, уставился мне прямо в глаза и обратился ко мне с отрывочными словами, смысл которых для меня, естественно, остался тайной. Страх мой постепенно проходил, и, вполне успокоившись, я заметил, что во взгляде пуделя светились добродушие и честность. Невольно я начал проявлять свое доверчивое настроение кротким помахиванием хвостом – вверх и вниз, – тотчас же также и пудель стал вилять своим коротким хвостиком на самый прелестный манер.

О! Сердце мое обратилось к нему, симпатии наших душ не подлежали сомнению! – «Как, – сказал я сам себе, – как могло так утратить и испугать тебя непривычное поведение этого чужака? Чем иным были эти прыжки, это тьяканье, это волнение, это беганье, эти вопли и завывания, как не проявлениями сильно и мощно возбужденной юношеской души, души, возбужденной страстью и чувством радостной свободы жизни? О, нет сомнения, что добродетель, истинная благородная пуделичность обитает в этой черной, покрытой косматым мехом груди!» Ободренный этими мыслями, я решил сделать первый шаг с целью более близкого, более энергичного единения наших душ и спуститься на пол со стула маэстро.

Едва лишь я поднялся и потянулся, пудель вскочил и стал носиться по комнате с громким тьяканьем.

Проявления характера, обладающего великолепной жизненной силой! – Больше нечего было бояться, и я сразу же спустился на пол и тихим шагом приблизился к новому другу. Мы приступили к церемонии, которая символизирует более близкое знакомство родственных натур, заключение союза, обусловленного внутренним взаимным тяготением, тот самый акт, который близорукий и к тому же святотатствующий человек определяет неблагородным словом «обнюхивание». Мой черный друг проявил охоту отвесть куриных косточек, которые лежали в моей мисочке. Я тонко намекнул ему, что светская воспитанность и учтивость повелевают мне принимать его как своего гостя. Он уплетал с поразительным аппетитом, а я внимательно приглядывался к нему. – Однако все же хорошо, что я убрал жареную рыбу и припрятал ее про запас под моей постелькой! Откушав, мы затеяли веселую игру и наконец, став едиными сердцем и душою, обнялись и, тесно прижавшись друг к другу и перекувырнувшись разок-другой, поклялись друг другу в искренней и сердечной верности и дружбе.

Не знаю, что может быть забавного в этой встрече прекрасных душ, в этом взаимном узнавании двух юношеских характеров. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что оба, мой маэстро и посторонний молодой человек, все время весело хохотали, к немалому моему огорчению.

Новое знакомство произвело на меня настолько глубокое впечатление, что с тех пор на солнце и в тени, на крыше и под печью я ни о чем другом не думал, ни о чем другом не мечтал, ничего другого не чувствовал, кроме как – ПУДЕЛЬ-ПУДЕЛЬ-ПУДЕЛЬ! Не потому ли внутренняя суть пуделячества предстала передо мной в ярчайших красках, и благодаря этому внезапному озарению явился на свет глубокомысленный опус, о котором я уже упоминал, а именно: «Мысль и чутье, или Кот и пес». В нем я излагаю мнение, согласно коему нравы, обычаи, язык обеих пород глубоко обусловлены своеобычной сущностью их, убедительно доказывая, впрочем, что обе породы подобны различным лучам, отброшенным одною и тою же призмой. Но особенно тонко удалось мне уловить самый сокровенный характер языка и дока-

зять, что поскольку язык как таковой является лишь символическим выражением природного начала в образе звуков, то, следственно, язык есть нечто единое, и, таким образом, и кошачий и собачий – в особой форме – пуделянского наречия – являются лишь ветвями единого древа, а посему – вдохновенные свыше, кот и пудель вполне способны понять друг друга. Чтобы еще более подкрепить свою мысль, я привел целый ряд примеров из обоих языков, обращая внимание на несомненное сходство их, как гав-гав, мяу-мяу-бляф-аувау-корр-курр-птси-пщрци и т. д.

Завершив этот труд, я ощутил непреодолимое желание всерьез изучить пуделянский язык, что мне и удалось благодаря содействию новообетенного друга, пуделя Понто, хотя и не без некоторых усилий, поскольку пуделянский для нас, котов, и впрямь весьма труден. Впрочем, гении без труда выходят из любого положения, и именно гениальность подобного рода отказывается признавать некий прославленный человеческий писатель, уверяя, что для того, чтобы говорить на каком-нибудь иностранном языке, воспроизводя все особенности произношения, свойственные данному народу, нужно быть немножечко шутом гороховым.

Мой маэстро был, впрочем, того же мнения и склонен был признавать лишь ученое знание иностранного языка, противопоставляя это знание болтовне или «парлеканью», под которым термином он подразумевал живую готовность говорить на чужом языке обо всем сразу и ни о чем в частности: вполне беспредметно и бесцельно. Он заходил даже настолько далеко, что был склонен считать французскую речь наших придворных кавалеров и дам своего рода недугом, подобным приступам каталепсии, – недугом, симптомы коего носят самый ужасающий характер, и я слышал, как он развивал эти абсурдные соображения перед самим гофмаршалом.

– Сделайте милость, – говорил маэстро Абрагам, – ваше превосходительство, и понаблюдайте, пожалуйста, за самим собою. Разве небеса не наделили вас прекрасным полнозвучным органом речи, но когда на вас накатывает приступ французского, вы внезапно начинаете шипеть, шепелявить, пришепетывать, картавить – и при этом ваши, впрочем весьма приятные, черты лица искажаются самым пугающим образом. Весь ваш красивый, строгий, серьезный облик нарушается, уродуемый всяческими удивительными судорогами. Что все это может значить, если не то, что где-то в вашем нутре начинает шевелиться некий проказливый кобольд рокового недуга?

Гофмаршал превесело смеялся, да и в самом деле – гипотеза маэстро Абрагама о заболевании иностранными языками казалась мне совершенно нелепой.

Некий чрезвычайно эрудированный ученый советует в какой-то книге, что следует стараться думать на чужом языке, если хочешь его быстро изучить. Совет сей превосходен, хотя выполнение его сопряжено с известной опасностью. А именно мне удалось очень скоро начать думать по-пуделянски, однако я настолько увяз в этих пуделиных мыслях, что почти утратил способность бегло выражаться на родном языке и чуть было не перестал соображать, о чем это я, собственно, думаю.

Эти маловразумительные мысли я большей частью запечатлел в письменной форме (они составили сборник, озаглавленный «Листья аканта»), и, признаться, я и сам был поражен необычной глубиной этих афоризмов и максим, смысл их и доселе для меня непостижим!

Я полагаю, что этого короткого описания месяцев моей юности вполне достаточно, чтобы читатель получил ясную картину того, что я собой представляю и как я стал тем, чем я стал.

Впрочем, я никак не могу распрощаться с цветущей порой моей замечательной, богатой событиями жизни, не упомянув об одном случае, который в известной степени знаменует собой мой переход в годы большей зрелости. Кошачье юношество узнает из моего повествования о том, что, увы, нет розы без шипов и что могущественно стремящемуся вперед и ввысь разуму положено столкнуться со множеством препятствий, многие камни преткновения покрывают его стезю и о камни сии случается ранить лапки, ранить до крови! А ведь боль от подобных ран весьма и весьма чувствительна, нестерпима даже!

Конечно же, ты, о мой благосклонный читатель, склонен завидовать мне, завидовать счастливой поре моей юности, завидовать благосклонной звезде, которая неугасимо сияла надо мною! Рожденный в скудости, от бедных, но благородных родителей, едва избегнув позорной гибели, я внезапно попадаю в роскошное лоно изобилия, в подлинные перуанские копи изящной словесности. Ничто не препятствует моему образованию, никто не противится моим склонностям. Семимильными шагами иду я навстречу совершенству, высоко возносящему меня над моей эпохой. И тут меня внезапно останавливает докучный таможенник и требует дани, какую обязаны платить все в нашей земной юдоли!

Кто бы мог подумать, что под роскошными цветами сладчайшей, нежнейшей дружбы сокрыты тайные тернии. Коварные шипы, которые должны были исцарапать меня, изранить, и к тому же изранить до крови!

Всякий, в чьей груди, как и в моей, трепещет чувствительное сердце, сможет из того, что я сказал о своих отношениях с пуделем Понто, легко сделать вывод, сколь дорог он был мне, и все-таки именно он стал причиной катастрофы, которая могла бы погубить меня, если бы дух моего великого предка не оберегал меня. Да, мой читатель, у меня был предок, без которого я, в известном смысле, вовсе не мог бы существовать. Моим прародителем был великий муж – человек знатный, уважаемый, богатый, широко образованный, обладавший высокими добродетелями, любвеобильный и пламенный человеколюбец, воплощенная элегантность и утонченность, человек, который – но все это я теперь говорю лишь вскользь, в будущем же я скажу больше об этом достойном муже – является не кем иным, как всемирно известным премьер-министром Гинцем фон Гинценфельдом, всеобщим любимцем рода человеческого, высоко превознесенным и прославленным под именем Кота в сапогах.

Как уже говорилось – впредь я расскажу подробнее об этом благороднейшем из всех котов!

И разве могло быть иначе: разве я, как только я научился легко и изящно изъясняться по-пуделянски, мог бы не говорить с моим другом Понто о том, что для меня было высочайшим в жизни предметом, а именно – о себе самом и о своих творениях? Так и случилось, что он познакомился с моей необыкновенной умственной одаренностью, с моей гениальностью, с моими талантами, и я, к немалому своему огорчению, открыл, что непреодолимое легкомыслие и – более того – известная заносчивость лишают юного Понто возможности совершить нечто в области науки и искусства. Вместо того чтобы изумиться моим познаниям, он стал уверять меня, что совершенно не в состоянии постичь, как это я решил заняться такого рода делами, и что он со своей стороны в области искусства ограничивается исключительно тем, что прыгает через палку и вытаскивает шляпу своего хозяина из воды. Что же касается наук, то тут, как ему думается, особы, подобные мне и ему, способны только испортить себе желудок, занимаясь науками, и окончательно утратить аппетит.

Во время одного из таких разговоров, когда я старался наставить на путь истинный моего юного легкомысленного друга, случилось нечто ужасное. Ибо, прежде чем ожидал я, юный...

(Мак. л.)...и всегда-то вы, – возразила Бенцон, – с этой вашей фантастической восторженностью, с этой душераздирающей иронией – неспособной вызвать ничего другого, кроме тревоги, смятения и замешательства, ибо вы вносите полнейший диссонанс во все общепринятые человеческие взаимоотношения, какими они некогда сложились и существуют донныне.

– О, удивительный музыкант, – смеясь воскликнул Иоганнес Крейслер, – способный на такие диссонансы!

– Сохраняйте серьезность, – продолжала советница, – сохраняйте серьезность, вы не отделаетесь от меня, ваши горькие шутки на меня не действуют! Я держу вас крепко, милый Иоганнес! Да, так я хочу называть вас, этим нежным именем, звать вас Иоганном, Иоганнесом, чтобы я по крайней мере вправе была уповать, что под маской сатира все-таки скрывается

кроткая мягкая душа. И потом, я никогда не поверю, что странное имя Крейслер не подsunуто контрабандой, что им не подменена какая-нибудь совершенно иная родовая фамилия!

– Госпожа советница, – заговорил Крейслер, между тем как все его лицо в престранной мышечной игре завибрировало тысячами складочек и морщинок, – дражайшая советница, что вы имеете против моего честного имени? Быть может, прежде я и носил иное имя, но было это давным-давно, и со мною произошло то же, что с пресловутым советчиком из тиковской «Синей Бороды»; если помните, он говорит там: «У меня было некогда превосходное имя, но со временем я его почти забыл, у меня сохранилось о нем лишь смутное воспоминание!»

– Постарайтесь вспомнить, Иоганнес! – воскликнула советница, пронизывая его пылающим взглядом. – Полузабытое имя непременно всплывет в вашей памяти.

– Отнюдь нет, дражайшая, – возразил Крейслер, – это невозможно, и я подозреваю, что это смутное воспоминание, как и вообще все, что касается моей внешней жизни и моего имени, как своего рода вида на жительство, дошло ко мне из более приятной эпохи, а именно – из тех времен, когда меня, собственно, еще и вовсе на свете не было! Окажите же мне такую милость, достопочтенная, соблагovolите рассматривать мое простое имя в соответствующем свете, и вы его найдете во всем, что касается абриса, контура, колорита и физиогномии, – чрезвычайно милым. И более того, выверните его наизнанку, рассеките его анатомическим скальпелем грамматики, и что же? – лишь более прекрасным покажется вам его внутреннее содержание. Это совершенно невозможно, замечательная моя, чтобы мое имя происходило от слова Kraus, как вы полагаете, и меня, по аналогии со словом «Haarkräusler», т. е. «завивальщик волос», считайте «Tonkräusler'ом», т. е. «завивальщиком звуков», или даже вообще Kräusler'ом, ибо мне в подобном случае пришлось бы писаться именно так – Kräusler! Вы не сможете отвлечься от слова «Kreis», т. е. «круг», и дай боже, чтобы вы при этом сразу же подумали о заколдованных кругах, в которых движется все наше существование и из которых мы не находим выхода! В этих вот кругах и кружится Крейслер, и очень может быть, что нередко, устав от пляски святого Витта, он принужден бывает, единоборствуя с темной и непостижимой силой, которая начертала эти круги, устав от них больше, чем это может вытерпеть его – без того уже расстроенный желудок, – устремиться на вольный воздух! И глубокая боль, которую причиняет ему этот страстный порыв, опять-таки непременно должна преобразиться в ту иронию, которую вы, уважаемая, так горько упрекаете, не обращая внимания на то, что ведь эта крепкая родительница произвела на свет сына, который вступил в жизнь как король-властелин. Говоря о короле-властелине, я имею в виду юмор, у которого нет ничего общего с его злополучным сводным братцем – сарказмом.

– Да, – сказала советница Бенцон, – именно этот юмор, именно этот подкидыш, рожденный на свет развратной и капризной фантазией, этот юмор, о котором вы, жестокие мужчины, сами не знаете, за кого вы должны его выдавать, – быть может, за человека влиятельного и знатного, преисполненного всяческих достоинств; итак, именно этот юмор, который вы охотно стремитесь нам подsunуть как нечто великое, прекрасное, в тот самый миг, когда все, что нам мило и дорого, вы же стремитесь изничтожить язвительной издевкой! Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига еще и до сих пор не пришла в себя после вашего появления и после вашего странного паясничества там, в парке? Она настолько чувствительна, что воспринимает как болезненную рану любую шутку, в которой она склонна заподозрить хотя бы малейшую насмешку над ее особой, но, помимо этого, вы еще сочли нужным, любезный Иоганнес, прикинуться совершеннейшим сумасшедшим и возбудить в ней такой ужас, что она чуть было не расхворалась. Можно ли извинить такое?

– Это столь же непростительно, – возразил Крейслер, – как и желание некой принцесочки обольстить прелестной миниатюрностью своей, а затем жестоко покарать некоего незнакомца, человека на вид абсолютно пристойного и совершенно случайно попавшего в открытый для всех парк ее сиятельного папеньки.

– Незнакомец пусть поступает как хочет, – продолжала советница, – довольно и того, что ваше скандальное появление в нашем парке могло иметь дурные последствия. То, что ее разубедили, то, что принцесса по крайней мере привыкла к мысли о том, что ей придется вновь увидеть вас, – всему этому вы обязаны моей Юлии. Она одна защищает вас, ибо она во всем, что вы предприняли, во всем, что вы наговорили, видит всего лишь проявления некой сумасбродной фантазии, нередко свойственной глубоко уязвленным или же чрезмерно чувствительным душам. Одним словом, Юлия, которая лишь недавно познакомилась с шекспировской комедией «Как вам это понравится», сравнивает вас с меланхолическим месье Жаком.

– О вдохновенное дитя небес! – воскликнул Крейслер, и слезы выступили у него на глазах.

– Кроме того, – продолжала Бенцон, – моя Юлия увидела в вас, когда вы импровизировали на гитаре и, как она рассказывает, при этом пели, а порой и разговаривали, итак, она узнала в вас возвышенного музыканта, утонченного композитора. Она полагает, что в то мгновение ею овладел совершенно особенный дух музыки, как будто бы некая незримая сила велела ей петь и играть; и пение, и игра удались ей необыкновенно, как никогда прежде. Узнайте также, что Юлия никак не могла привыкнуть к мысли, что она больше уже не увидит того престранного человека, что он должен будет остаться для нее всего лишь каким-то изумительным и чарующим музыкальным призраком; на что принцесса Гедвига, со всей ей свойственной запальчивостью, возразила, что новый визит этого призрачного сумасброда умертвит ее.

Так как девушки наши всегда нежно дружили и между ними никогда не было никаких раздоров, то я могла бы с полным правом заметить, что в данном случае – только навыворот – повторилась та сцена из времен их раннего детства, когда Юлия хотела без долгих разговоров швырнуть в камин несколько причудливого Скарамуша, которого ей смастерили, принцесса же взяла его под свою защиту, сказав, что он – ее любимец.

– Я позволю принцессе, – громко смеясь, перебил Крейслер речь госпожи Бенцон, – я позволю принцессе швырнуть меня в камин, как второго Скарамуша, полагаясь, впрочем, на сладостное заступничество милой Юлии.

– Вы должны, – продолжала Бенцон, – счесть воспоминание о Скарамуше попросту своего рода юмористической причудой, а ведь, согласно вашей же собственной теории, на шутку сердиться грешно. Кстати, вы, конечно, не усомнитесь в том, что я, выслушав рассказ девушек о вашем появлении и обо всем происшествии в парке, мгновенно узнала, что это были вы и что в стремлении Юлии вновь увидеть вас я никоим образом не повинна; и все-таки я в следующее же мгновение привела в движение всех людей, которые были тогда в моем распоряжении; велела им обыскать весь парк, весь Зигхартсвейлер, чтобы всенепременно отыскать вас, ведь вы мне стали так дороги после первого нашего непродолжительного знакомства! Но все поиски были тщетными, я полагала, что утратила вас, тем более должна была я изумиться, когда вы нынче утром предстали передо мной. Юлия моя сейчас у принцессы Гедвиги, – ах, какая буря противоречивых чувств истерзала бы их души, если бы девушки вдруг узнали о вашем прибытии! Что же так внезапно привело вас, которого я считала капельмейстером на отличном месте при дворе великого герцога, что же так внезапно привело вас сюда, об этом я теперь не требую от вас ответа. Вы когда-нибудь расскажете об этом сами, если, конечно, захотите.

Когда советница все это говорила, Крейслер, казалось, был сама задумчивость. Он устремил взор в землю и даже стал потирать лоб, как человек, тщетно пытающийся вспомнить нечто позабытое.

– Ах, – начал он, когда советница смолкла, – ах, это удивительно дурацкая история, и ее едва ли вообще стоит рассказывать. Я знаю только одно: что то, что ваша принцессочка склонна была считать дикими речами безумца, на самом деле вполне обоснованно. Я и в самом деле вояжировал тогда, когда имел несчастье испугать маленькую чувствительную принцессочку в парке, и явился-то я в парк непосредственно с визита, который нанес не кому иному, как

самому его сиятельству великому герцогу, и здесь, в Зигхартсвейлере, я хотел только продолжать свои необыкновенно приятные визиты.

– О Крейслер, – воскликнула советница с тихим смехом (никогда она не смеялась громко, в голос), – о Крейслер, это, конечно же, снова какая-нибудь причудливая шутка, которой вы дали волю! Если я не ошибаюсь, городская резиденция находится по крайней мере в тридцати часах ходьбы от Зигхартсвейлера?

– Это именно так, – возразил Крейслер, – но дорога-то идет садами. Садами настолько стильными, настолько великолепными, что сам знаменитый Ленотр пришел бы в восторг, увидев их! Итак, если вы полагаете, уважаемая, что я не нанес визиты, то вообразите, что чувствительный капельмейстер, с певческим голосом в груди, с гитарой в руках, блуждает по благоуханным лесам, плутает по зеленым лугам, карабкается на дико нагроможденные гранитные скалы, перепрыгивает через расселины, идет по узким тропкам, под которыми, пенясь, журчат лесные ручейки, да и что вот такой капельмейстер, подобно певцу-солисту, вплетает свой голос в согласные хоры природы, которые звучат везде и всюду вокруг него; так вот, такому капельмейстеру весьма легко попасть в отдаленные аллеи сада, нисколько того не желая, отнюдь не преднамеренно. Вот так-то я, должно быть, и попал в княжеский парк в Зигхартсвейлере, а ведь парк этот представляет собой не что иное, как малую часть того исполинского парка, который заложен самой природой. – Но нет, дело обстоит вовсе не так! – Когда вы только что говорили о том, что подняли на ноги целую ораву веселых егерей, дабы изловить меня, как дичь, на которую не возбраняется охотиться, как дичь, которая почему-то сбежала от охотников, тогда я впервые обрел внутреннее твердое убеждение в необходимости моего здешнего пребывания. Необходимость, которая меня, если бы я даже и хотел продолжать свой дикий бег, загнала в ловушку. – Вы были так милы, вы упомянули, что знакомство со мной радовало вас. Так могу ли я забыть те роковые дни всеобщего смятения и всеобщего горя, те дни, в какие нас свела судьба? Вы нашли меня тогда мечущимся без толку, неспособным принять определенное решение; я был тогда человеком с истерзанной душой! Вы приняли меня радушно и дружелюбно, вы осенили меня ясным и безоблачным небом спокойной, замкнутой в себе женственности, вы думали утешить меня, вы одновременно упрекали меня и прощали мои сумасбродные дерзости, буйства шалости, которые вы приписывали безутешному отчаянию, в какое я впал под бременем обстоятельств. Вы исторгли меня из окружения, которое я и сам вынужден был признать двусмысленным, ваш дом стал для меня мирным и дружеским убежищем, где я, почитая вашу тихую боль, забывал о своей печали. Ваши беседы, исполненные веселости и кротости, действовали на меня как благодетельное лекарство; хотя вы и не ведали, в чем состоит мой недуг. Нет, не одни только грозные события, которые могли подорвать мое положение в жизни, нет, не они оказали на меня такое пагубное влияние! Мне давно уже хотелось порвать связи, которые так угнетали и устрашали меня, и я не вправе был сетовать на судьбу, которая совершила то, что сам я так долго не мог совершить, потому что у меня на это не доставало мужества и сил. Нет! – Когда я ощутил себя свободным, мною овладела та неопишуемая тревога, которая, начиная с моих ранних юношеских лет, так часто вызывала в моей душе раздор с самим собою. Это не было то пламенное стремление, которое, как прекрасно сказал один глубокий поэт, будучи «порождено высшей жизнью, вечно длится, оставаясь вечно неутоленным и невоплощенным», – однако оно не оказывается обманутым, обойденным, – оно попросту не исполняется, ибо, исполнившись, оно погибнет! Нет, дикое, безумное желание возникло во мне, желание, заставившее меня устремиться к чему-то, что я в неустанном порыве ищу где-то вовне, в то время как оно сокрыто в моей собственной душе, как некая темная тайна, как дикий и загадочный сон о каком-то эдеме высочайших отрад и наслаждений; впрочем, его и сновидением не назовешь – это было скорее какое-то неясное предчувствие, и предчувствие это устрашало меня и заставляло меня испытывать воистину танталовы муки! Это чувство овладевало мною уже тогда, когда я был еще ребенком, и овладевало оно мной

настолько внезапно, что в самом разгаре веселой игры со сверстниками моими я убежал от них в лес или в горы, а там бросался наземь и рыдал безутешно и всхлипывал, хотя я как будто только что был самым яростным и самым сумасбродным среди них всех! Позже я научился владеть собой, побеждать, обуздывать себя, но я никак не мог высказать, какие муки причиняло мне мое состояние, когда мне в самом веселом и милом обществе, среди добрых и благожелательных друзей, в минуты наслаждений искусством, даже – более того – в мгновения, когда тщеславие мое было весьма и весьма польщено, мне вдруг начинало казаться, будто я внезапно перенесся в какую-то унылую пустыню. Есть один лишь ангел света, способный осилить демона зла. Это светлый ангел – дух музыки, который часто и победоносно вздымался из души моей, при звуках его мощного голоса немеют все земные печали.

– Я всегда, – заговорила советница, – я всегда полагала, что музыка действует на вас слишком сильно, более того – почти пагубно, ибо во время исполнения какого-нибудь замечательного творения казалось, что все ваше существо пронизано музыкой, искажались даже и черты вашего лица. Вы бледнели, вы были не в силах вымолвить ни слова, вы только вздыхали и проливали слезы и нападали затем, вооружаясь горчайшей издевкой, глубоко уязвляющей иронией, на каждого, кто хотел сказать хоть слово о творении мастера. И даже когда...

– О дражайшая моя советница, – прервал Крейслер речи Бенцон – он говорил вначале серьезно и глубоко взволнованно, но вскоре снова впал в особенно ему свойственный иронический тон, – о дражайшая моя советница, теперь все это совершенно переменилось. Вы не можете себе представить, уважаемая, до чего благонаравным и разумным сделался я при дворе великого герцога. Я способен теперь с величайшим душевным спокойствием и приятностью дирижировать «Дон Жуаном» или «Армидой»; я способен дружески кивать примадонне, когда она в головокружительной каденции резво скачет по перекладинам звуковой лестницы, я могу, когда гофмаршал после гайдновских «Времен года» шепчет мне: «*C'etoit bien ennuyant, mon cher maître de chapelle!*»²⁴ – улыбаясь, кивать ему и со значительным видом брать щепотку табака, о да, я способен вполне терпеливо слушать, когда камергер, ответственный за придворные спектакли и мнящий себя глубоким знатоком искусств, красноречиво уверяет меня, что Моцарт и Бетховен решительно ничего не смыслили в пении и что Россини, Пучитта и – имена их господи веши! – достигли самых высот того, что именуется оперной музыкой! – О да, уважаемая, вы не поверите, какую необыкновенную пользу извлек я для себя за время моего капельмейстерства! Прежде всего, однако, я вполне убедился в том, до чего же хорошо, когда художники, люди искусства, поступают в услужение, ибо кто, кроме самого черта и чертовой бабушки, мог бы в противном случае справиться с этим гордым и надменным артистическим народцем! Сделайте этакое дерзновенного композитора капельмейстером или музыкальным директором, сделайте стихотворца – придворным поэтом, живописца – придворным портретистом, скульптора – придворным ваятелем, и вскоре в вашем государстве исчезнут все бесполезные фантазеры, останутся одни только полезные граждане, преблаговоспитанные и преблагонаравные!

– Постойте, постойте, – воскликнула советница с явным неудовольствием, – постойте, Крейслер, ваш любимый конек вновь, как это ему привычно, становится на дыбы! Помимо всего прочего я заподозрила нечто неладное, и теперь мне отчаянно хочется на самом деле узнать, что за нежелательное событие заставило вас так поспешно бежать из резиденции великого герцога. Ибо именно о таком побеге свидетельствуют все обстоятельства вашего появления в зигхартсвейлерском парке.

– А я, – спокойно заговорил Крейслер, твердо взглянув в глаза советнице, – а я могу заверить вас, что то скверное событие, которое изгнало меня из резиденции, нисколько не зависело от каких-либо внешних обстоятельств, ибо оно заключено во мне самом.

²⁴ Это было довольно скучно, мой милый капельмейстер! (*фр.*)

Именно та самая тревога, о которой я сперва наговорил, быть может, несколько больше и в более серьезном тоне, чем, пожалуй, следовало, овладела мною с гораздо большей силой, чем когда-либо прежде, и я не мог больше оставаться на прежнем месте. – Вы знаете, конечно, как я радовался, когда получил место капельмейстера у великого герцога. Ах, глупец, я думал, что, когда я буду жить непрестанно в искусстве, мое новое положение заставит меня вполне угомониться, – что демон, который живет в груди моей, будет побежден! Из того немногого, что я могу рассказать о своем воспитании при дворе великого герцога, вы, достопочтенная, узнаете, однако, как много я настрадался из-за этой пошлой игры со святым искусством, в которой отчасти был повинен и я, из-за глупостей бездушных горе-артистов, бестолковых дилетантов, из-за всей безумной суматохи марионеток и манекенов от искусства! Все это меня все больше и больше заставляло постигать жалкую никчемность моего существования. В одно прекрасное утро я должен был явиться на прием к великому герцогу, чтобы узнать о том, какие обязанности возлагаются на меня во время предстоящих торжеств. Мне пришлось выслушать от церемониймейстера всяческие бессмысленные и безвкусные распоряжения, которым я вынужден был подчиниться. Прежде всего речь шла о прологе, слова коего он сам и сочинил, пролог этот должен был составить собой высшую точку, кульминацию всех театральных празднеств – вот музыку этого пролога я и должен был сочинить! Поскольку на сей раз – так сказал он государю, не преминув бросить на меня колкий взгляд через плечо, – речь идет не об ученой тевтонской музыке, а об итальянской вокальной безвкусице, то он сам подобрал и сочинил несколько нежных мелодиек, которые мне следовало покорно аранжировать. Великий герцог не только одобрил все распоряжения, но и воспользовался случаем, дабы заявить, что моему дальнейшему усовершенствованию – как он ожидает и надеется – будет содействовать ревностное изучение музыки новейших итальянцев. – Боже, какую жалкую фигуру являл я собой, стоя навтыяжку перед великим герцогом! Я глубоко презирал себя – все эти унижения казались мне более чем справедливой карой за мое ребяческое безумное долготерпение! – Я покинул дворец, чтобы никогда больше не возвращаться туда. Еще в тот же самый вечер я хотел потребовать моей отставки, но и это решение не успокоило бы мою душу, ибо я уже чувствовал, что подвергнусь некоему тайному остракизму. Гитару, которую я захватил для иной цели, я взял из кареты – гитару, и ничего более; как только экипаж оказался за воротами, карету отослал, а сам бежал на волю, все дальше и дальше! Уже смеркалось, все шире и все чернее становились тени гор, тени леса. Невыносимой и, более того, – губительной – была для меня мысль о возвращении в резиденцию великого герцога. «Какая сила может вынудить меня пуститься в обратный путь?» – восторженно воскликнул я. Я знал, что нахожусь на дороге в Зигхартсвейлер, вспомнил о моем старом маэстро Абрагаме, от коего я за день до того получил послание, в котором он, догадываясь о том, каково мое положение в герцогской резиденции, уговаривал меня уехать оттуда и приглашал меня к себе.

– Как, – прервала капельмейстера советница Бенцон, – как, вы знакомы с этим старым чудачком?

– Маэстро Абрагам, – продолжал Крейслер, – был ближайшим другом моего отца, моим учителем, даже отчасти моим воспитателем! Итак, достойнейшая, теперь вы знаете все и подробно – о том, как я попал в парк высокопочтенного князя Ириней, и не станете больше сомневаться в том, что я, когда дело заходит довольно далеко, оказываюсь в состоянии повествовать обо всем спокойно, с необходимой исторической точностью во всех деталях и до того приятно и занимательно, что от этого живого повествовательного тона меня самого тошнит! Вообще, вся история моего бегства из резиденции, как уже сказано, представляется мне теперь настолько глупой и преисполненной такой безнадежной прозы, что я, толкуя об этом, непременно слабею духом! – Если бы вы захотели, однако, дражайшая советница, преподнести это пустопорожнее событие как лекарство, прекращающее спазмы у испуганной принцессы, дабы она успокоилась и уразумела, каково честному немецкому музыканту, которого именно тогда,

когда он, натянув шелковые чулки, с достойным видом расположился в элегантном экипаже, вытолкнули из этого экипажа и обратили в бегство всяческие Россини, и Пучитта, и Павези, и Фьораванти, и одному богу известно сколько еще других-*ини* и-*итта*, она поймет, конечно, что после такого афронта он едва ли способен вести себя достаточно ловко и обходительно. Итак, я могу надеяться на прощение, во всяком случае – хочу надеяться на прощение! Что же до поэтического завершения моей прескучной истории, то да будет вам известно, прекраснейшая советница, что в тот самый миг, когда я, гонимый моим демоном, вознамерился убежать, меня остановило некое сладчайшее волшебство. Злорадный демон хотел как раз выдать всем глубочайшую тайну, погребенную в моей груди, но тут могучий дух музыки распростер надо мной свои крылья, и от их мелодического шелеста в груди моей пробудилось чувство утешения, упования и – более того – то самое пылкое томление, в котором всё – бессмертная любовь и восторг вечной юности, – Юлия пела!

Крейслер смолк. Бенцон слушала, напряженно ожидая, что же последует дальше. Но так как капельмейстер казался погруженным в глубокое раздумье, она осведомилась у него с холодной учтивостью: «Вы и в самом деле находите пение моей дочери таким приятным, милый Иоганнес?»

Крейслер хотел было высказать все, что думал, но промолчал и только глубоко вздохнул.

– Ну что ж, – продолжала советница, – это мне весьма по душе. Юлия сможет от вас научиться многому, милый Крейслер, по части истинного пения, ибо то, что вы здесь останетесь, я считаю делом решенным и законченным.

– Достопочтенная, – начал было Крейслер, но в этот миг раскрылась дверь и вошла Юлия.

Когда она увидела капельмейстера, ее милое лицо просветлело – оно озарилось нежной улыбкой и тихое «ах!» слетело с ее уст.

Бенцон поднялась, взяла капельмейстера под руку и повела его навстречу Юлии, говоря при этом: «Вот, дитя мое, это и есть тот самый престранный...»

(*Мурр пр.*)...юный Понто набросился на мой новейший манускрипт, лежавший рядом со мною, вцепился в него зубами, прежде чем я мог это предотвратить, и мгновенно унесся прочь вместе с рукописью. При этом он злорадно хохотал, и уже это обстоятельство должно было заставить меня заподозрить, что злодеяние это совершено им не из простого мальчишеского озорства, но что нечто гораздо большее было поставлено на карту. Вскоре все это вполне разъяснилось.

Спустя несколько дней человек, у коего юный Понто находился в услужении, вошел в комнату моего маэстро. Это был, я потом узнал, некий господин Лотарио, профессор эстетики в зигхартсвейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор внимательно осмотрел комнату и сказал, увидев меня: «Вы не хотите, милый маэстро, удалить из комнаты этого малыша?» – «Но почему?» – спросил маэстро. – Почему? Вы же, как мне известно, охотно терпите и даже любите кошек, и прежде всего моего любимца, пригожего и разумного кота Мурра!» – «О, да, – сказал профессор с язвительной усмешкой. – Да, да, он весьма пригож и понятлив, все это чистая правда! Но сделайте мне одолжение, маэстро, и удалите отсюда вашего любимца, ибо я должен поговорить с вами о вещах, о которых ему решительно не следует слушать». – «Кому не следует?» – воскликнул маэстро Абрагам, уставившись на профессора. «Ну, – продолжал его собеседник, – вашему коту, конечно. Прошу вас, не спрашивайте больше ни о чем, а сделайте то, о чем я вас прошу». – «Забавно, презабавно даже», – проговорил маэстро, приотворив двери кабинета и зазвав меня туда. Я последовал его зову, чего он, впрочем, не заметил, однако вскоре вновь проскользнул обратно и спрятался на нижней полке книжного шкафа, так что мог, оставаясь незамеченным, осматривать комнату и слышать каждое слово, произнесенное собеседниками.

– Ну, теперь я хотел бы, – сказал маэстро Абрагам, усаживаясь против профессора в свое кресло, – ну, теперь я хотел бы, ради всего святого, узнать, что за тайну вы мне собирае-

тесь открыть и почему это необходимо утаить ее от моего честного и добропорядочного кота Мурра?

– Скажите мне, – начал профессор самым серьезным тоном, с некоторым раздумьем в голосе, – скажите мне прежде всего, любезный маэстро, какого вы мнения о принципе, согласно коему, конечно при непременном наличии телесного здоровья, во всем остальном же совершенно безотносительно к наличию или отсутствию природных умственных способностей, таланта, гения, посредством одного лишь особого целенаправленного воспитания, возможно любого ребенка за короткий срок, следовательно еще в отроческие годы, сделать истинным светилом науки или замечательным художником?

– Э-э, – возразил маэстро, – что я могу думать относительно этого принципа, кроме того, что это величайший вздор и нелепица. Вполне возможно и даже не слишком трудно ребенку, который отличается сообразительностью, примерно такой, какая встречается у обезьян, и обладает притом еще и хорошей памятью, такому ребенку можно систематически вдолбить в голову целую кучу познаний, которыми он потом сможет похвалиться перед людьми; только у этого ребенка, как непременное условие, должен вовсе отсутствовать всякий природный дар, ибо в противном случае лучшая часть внутренней души воспротивится ужасной и пагубной процедуре. Однако кто осмелится назвать такого туповатого мальчугана, напичканного всеми крохами знания, какие только можно проглотить, – кто осмелится назвать его ученым в подлинном смысле этого слова?

– Весь свет, – в сердцах воскликнул профессор, – весь белый свет! О, это ужасно! Всякая вера в некую внутреннюю, высшую, природную умственную силу, ту силу, которая одна только способна создать ученого, создать художника, всякую веру в это умерщвляет сей пагубный, идиотский принцип – и все летит к чертям!

– Не стоит так распаляться, – с улыбкой произнес маэстро. – Ведь, насколько мне известно, до сих пор в нашем добром германском отечестве был выставлен напоказ всего лишь один-единственный продукт подобного воспитательного метода, о котором свет некоторое время поговорил и вскоре, впрочем, перестал говорить, когда убедился, что экспонат-то ведь не из особенно удачных. К тому же пора расцвета этого феномена пришлась на период, когда как раз вошли в моду вундеркинды и прочие чудо-дети, которые, впрочем, так же как старательно выдрессированные собаки и обезьяны, охотно демонстрируют свое искусство в обмен за невысокую входную плату.

– Вот как вы теперь говорите, – молвил профессор, – вот как вы теперь говорите, маэстро Абрагам, и вам бы, конечно, поверили, если бы не знали, что в душе вы – превеликий хитрец, если бы всем не было известно, что вся ваша жизнь представляет собой некую цепь самых удивительных опытов и экспериментов. Признайтесь же, маэстро Абрагам, признайтесь же, ведь вы так вот тихонько, в самой глубокой тайне экспериментировали согласно этому принципу, а ведь вы хотите превзойти того человека, создателя того экспоната, о котором мы только что говорили с вами. Вы собирались, конечно, когда все будет уже вполне готово, выступить с вашим воспитанником, чтобы изумить и привести в отчаяние всех профессоров во всем мире. Вы хотите совершенно опозорить великолепный принцип: «Non ex quovis ligno fit Mercurius»²⁵. Короче говоря, quovis²⁶ налицо, но только он никакой не Меркурий, а попросту – кот!

– Что вы говорите, – воскликнул маэстро и громко расхохотался, – что вы говорите, да неужели кот?!

– Только не отпирайтесь, – продолжал профессор, – на этом малыше, там в камерке, вы испробовали те самые абстрактные методы воспитания, вы научили его читать и писать, вы

²⁵ Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия (*ит.*).

²⁶ Всякий (*лат.*).

преподавали и внушили ему всяческие познания и науки, так что он уже теперь возомнил себя сочинителем и даже кропает стихи.

– Ну, – проговорил маэстро, – ничего подобного со мной никогда не случилось! Чтобы я так воспитал своего кота и обучил его всяческим наукам и прочим познаниям? Скажите-ка, что это у вас за беспокойное, чрезмерно разыгравшееся воображение. Не бредите ли вы, господин профессор? Смею заверить вас, что мне ровно ничего не известно касательно воспитания и образования моего кота, да и более того – все, о чем вы тут говорили, я считаю совершенно невозможным!

– Ах, так? – преспокойно произнес профессор, вытащил из кармана тетрадку, в которой я мгновенно узнал украденную у меня юным Понтом рукопись, и стал читать:

Устремление к возвышенному
Чу, что за чувство в сердце воцарилось,
Откуда этот вихрь тревоги краткой?
Зачем мне прыгнуть хочется украдкой?
Иль гениальность впрямь в меня вселилась?

Какой душа любовью окрылилась?
В чем суть вещей? Костер надежды шаткой?
Откуда это чувство жажды сладкой?
Что с трепетным сердечком приключилось?

В волшебных стран неведомом просторе,
Безгласный, бессловесный, безъязыкий,
Влачусь, – но свежесть внешнюю почую,
От тяжких уз освобожусь я вскоре!

Дичь отыскав в листве густой и дикой,
Взыграв душой, за крылышко схвачу я!

Я надеюсь, что каждый из моих любезных и благосклонных читателей оценит истинную образцовость этого великолепного сонета, который излился из глубочайших недр моей души, и тем более будет восторгаться, если я заверю его, что сонет этот принадлежит к числу самых первых из изготовленных мною. Однако же профессор, злобствуя, прочел его настолько невыразительно, настолько гнусно, что я сам едва узнал собственное свое творение и в приступе внезапного гнева, по-видимому присущего юным поэтам, готов был уже выпрыгнуть из своего убежища, вцепиться господину профессору в физиономию и испробовать на ней остроту своих когтей. Тем не менее здравая мысль, что я всенепременно останусь в накладе, если оба они, маэстро и профессор, накинута на меня и зададут мне трепку, заставила меня подавить свой гнев, я испустил сердитое «мяу», которое меня безусловно выдало бы, если бы маэстро, как только профессор завершил чтение сонета, вновь не расхохотался и притом самым шумным образом, и хохот этот уязвил мой слух куда более, чем злополучная бестактность профессора.

– Ха-ха! – воскликнул маэстро. – И впрямь этот сонет вполне достоин кота, но я все еще не понимаю вашей шутки... Профессор, скажите мне лучше напрямик – куда вы клоните?

Профессор, не отвечая моему маэстро, продолжал листать мою рукопись и затем прочел:

Глосса

У любви дорог немало,
Дружба прячется от глаз.
Глянь, любовь в душе выиграла,
Снова пробил дружбы час!

Стоны жалоб боязливых
Слышу я везде и всюду;
Скорбью ль я охвачен буду
Иль отрадой дней счастливых?
Сам себя в словах пытливых
Я спросил бы, сном иль тишью
Нежность в сердце расцветала?
Сердце, будь словес превыше;
Ах, в подвале и на крыше
У любви дорог немало!

Но забудутся томленья,
Сопряженные с любовью:
Тихий, чуждый суесловью,
Встречу утро исцеленья!
Сладок миг выздоровленья!
С киской я носиться буду ль?
Нет, решенья пробил час!
На досуге милый пудель
Мне свою покажет удаль...
Дружба прячется от глаз!

Впрочем, как сопро...

– Нет, нет, – так мой маэстро прервал на этом самом месте декламирующего профессора, – нет, друг мой, вы и в самом деле испытываете мое терпение; вы сами или какой-то другой забавник шутки ради сочинили стихи, так сказать, в духе кота, а котом-то этим как раз оказался мой ни в чем не повинный, симпатичный котик Мурр, и вот теперь вы все утро дурачите меня этими виршами. Вообще-то говоря, это не столь уж злая шутка, и, должно быть, она очень понравилась бы Крейслеру, который, пожалуй, не преминул бы устроить из всего этого нечто вроде малой парфорсной охоты, в которой под конец вы сами можете оказаться в роли затравленной дичи. Ну а теперь кончайте ваш остроумный маскарад и скажите мне, вполне честно и сухо, безо всяких уверток, как, собственно, обстоит дело с вашей несколько необычной шуткой?

Профессор захлопнул рукопись, серьезно взглянул в глаза маэстро и засим повел такую речь:

– Эти листки доставил мне несколько дней тому назад мой пудель Понто, который, да будет вам известно, состоит в весьма дружеских отношениях с вашим котом Мурром. Правда, он принес мне этот манускрипт в зубах, поскольку он, впрочем, именно таким образом привык носить любые предметы, тем не менее он положил его передо мной – в абсолютно неповрежденном виде и дал мне при этом ясно понять, что получил его не от кого иного, как от своего закадычного друга Мурра. Я наскоро пробежал этот манускрипт, и мне сразу же бросился в глаза совершенно особенный, необыкновенно своеобразный почерк: когда же я ознакомился с некоторыми фрагментами, во мне возникла, я и сам не знаю, почему и каким непостижимым

образом, престранная мысль, что Мурр мог собственной персоной насочинять все эти творения! Сколько бы меня ни разуверял мой разум и, более того, известный жизненный опыт, приобретения которого мы все никак не можем избежать и который в конечном счете является не чем иным, как опять-таки разумом, что эта мысль невероятна, ибо кот абсолютно не в состоянии ни писать, ни тем паче сочинять стихи, все-таки я не в силах совершенно избавиться от этой мысли. Я решил вести наблюдения за вашим котом, и поскольку я знал от моего верного Понто, что Мурр много времени проводит на вашем чердаке, то я залез на свой чердак и снял со стропил несколько черепиц, так что мне открылся свободный вид на ваше слуховое оконце. И что предстало глазам моим! Слушайте и изумляйтесь. В самом дальнем углу чердака сидит ваш кот! Сидит выпрямившись, будто аршин проглотил, перед маленьким столиком, на котором разложены всякого рода письменные принадлежности и бумага; сидит – и порой потирает лапкой лоб и затылок, проводит по морде, засим окунает перо в чернила, пишет, потом перестает писать, снова пишет, перечитывает написанное, да при этом еще явственно мурлычет, мурлычет и урчит, выражая чувство удовлетворения. А вокруг него навалены всякого рода книги, которые, судя по корешкам, он утащил из вашей библиотеки.

– Что за чертовщина! – воскликнул маэстро. – А ну, пойду-ка я удостоверюсь, все ли мои книги на месте? Нет ли какой пропажи?

С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Как только он увидел меня, он отступил на три шага и уставился на меня в полнейшем изумлении. Но профессор воскликнул:

– Вот видите, маэстро! Вы думали, что малыш, существо вполне безвредное, обретается себе в каморке, где вы его изволили запереть, а он между тем прокрался в книжный шкаф, чтобы на досуге штудировать изящную словесность или – что еще более вероятно – чтобы подслушать наш разговор! Ну что же, он слышал все, о чем мы с вами говорили, и после этого вполне может принять свои меры предосторожности.

– Котик, – начал маэстро, взирая на меня с величайшим изумлением, – котик, если бы я знал, что ты, совершенно отрекшись от своей добропорядочной, честной и естественной природы, и впрямь занимаешься тем, что стал кропать такие странные вирши, как те, которые прочел профессор; если бы я мог подумать, что ты действительно занялся науками, а не мышами, я полагаю, я мог бы тебе здорово надрать уши или даже более того.

Меня охватил ужасающий страх, я зажмурился и прикинулся, будто я крепко сплю.

– Но нет, нет, – продолжал мой маэстро, – взгляните только, уважаемый профессор, как мой добропорядочный котик беспечно спит, и скажите сами – неужели в его простодушном облике есть нечто, что могло бы служить подтверждением тех тайных и сугубо удивительных плутовских проделок, в которых вы его обвиняете, – а ну-ка, Мурр! Мурр!

Так позвал меня мой маэстро, и я не преминул, как обычно, ответить ему своим благозвучным «мрр, мрр», открыть глаза, подняться и необыкновенно изящно выгнуть спинку.

Профессор, разгневанный, запустил мне в голову моим же манускриптом, я, однако, сделал вид (природная хитрость мне это подсказала), что мне кажется, будто он решил попросту поиграть со мной, и разбросал, прыгая и приплясывая, бумаги туда и сюда, так что отдельные фрагменты рукописи стали летать по комнате вокруг меня.

– Ну что же, – проговорил маэстро, – вот теперь окончательно ясно, что вы, профессор, совершенно не правы и что ваш пудель Понто попросту ввел вас в заблуждение. Взгляните только, как Мурр забавляется этими стихами, – какой поэт стал бы обращаться со своей рукописью подобным образом?

– Мое дело вас предостеречь, любезный маэстро, а теперь поступайте, как вам будет угодно, – возразил профессор и покинул комнату.

Тут я вообразил, что буря пронеслась мимо, и как же велико было мое заблуждение! Маэстро Абрагам, к величайшему моему неудовольствию, воспротивился моему научному образованию, и хотя он сделал вид, что не поверил ни единому слову профессора Лотарио, но

я вскоре вполне убедился в том, что он следит за мной при всех моих прогулках и променадах и преграждает мне доступ к своей библиотеке, с некоторых пор тщательно запирая свой книжный шкаф, и к тому же вовсе перестал терпеть мое присутствие на его письменном столе, где я имел обыкновение уютно располагаться посреди целого вороха бумаг.

Так горе и забота омрачили начальные дни моего юношеского созревания. Что может причинить гению большую боль, чем видеть себя непризнанным и неоцененным и – более того – осмеянным; что может повергнуть великий дух в большее огорчение, чем внезапное обнаружение всяческих препон именно там, где он имел все основания ожидать всевозможного содействия. Однако чем больше гнет, тем могущественней сила освобождения, чем туже натянута тетива, тем сильнее и дальше устремляется стрела! Если доступ к чтению оказался для меня закрыт, то тем вольнее стал работать мой собственный разум, творя из собственного материала.

Недовольный и разгневанный, ибо таким я был тогда, я провел немало дней и ночей в подвалах нашего дома, где было выставлено несколько мышеловок и где собиралось великое множество котов различного возраста и общественного положения.

От смело мыслящего философа никогда и нигде не ускользают таинственнейшие из житейских взаимосвязей, и он, как раз исходя из этих взаимосвязей, познает жизнь. Так именно в подвале мне бросились в глаза взаимоотношения мышеловок и кошек в их обоюдном взаимодействии. У меня, как у кота, наделенного высокой и благородной душой, сердце кровью обливалось, когда мне приходилось наблюдать, как эти неживые машины в их пунктуальном действии вызвали все большую лень у лучших представителей кошачьего юношества. И вот я взялся за перо и создал бессмертное творение, о котором я уже упомянул выше, а именно «О мышеловках и об их влиянии на умонастроение и энергию кошачества». В этой брошюре я как бы поставил перед глазами изнеженных юношей-котов зеркало, в котором они непременно должны были увидеть и узнать себя, лишенных каких бы то ни было собственных сил, ко всему безразличных, инертных, вялых, равнодушно взирающих на то, как дерзкие и проворные мыши, ничтоже сумняшеся, устремлялись за ломтиком сала! Я пытался растормошить юношей-котов, согнать с них дремоту, оперируя словами, подобными раскату грома. Помимо той пользы, которую должна была принести эта моя вещичка, написание ее было полезно для меня еще и в том отношении, что я сам, будучи занят ею, имел право вовсе не ловить мышей, а также и потому, что, поскольку я так сильно и выразительно написал свою брошюру, никому, пожалуй, и в голову не придет требовать от меня, чтобы я сам, своею собственной персоной, подавал другим пример превознесенного мною героизма, так сказать, в конкретных делах!

На этом я, пожалуй, мог бы и завершить повествование о первом периоде моей жизни и перейти к месяцам моей юности, составляющим переход к возрасту мужества, однако я не в силах утаить от благосклонного читателя две завершающие строфы той великолепной глоссы, которые мой маэстро не пожелал выслушать. Вот они:

Впрочем, как сопротивляться
Ласкам сладостным и нежным,
Если к розам безмятежным
Вздохи нежности примчатся?
Взоры счастьем опьянятся,
Коль прелестница, вприпрыжку
Прибежав, прильнет устало
К травам; страсти зов иль мышку
Услыхав... Лобзай малышку,
Глянь, любовь в душе разыграла!

Эти страстные томленья,
Этих чувств очарованья, —
Счастлив будь, познав желанья
И прыжки без утомленья!
Милой дружбы пробужденья
Под звездой, звездой вечерней
В золотой заветный час!
К другу мчусь я шагом скорым,
Разузнав: за чьим забором
Снова пробил дружбы час!

(Мак. л.)... именно в тот вечер он поражал всех необыкновенно веселым и милым расположением духа: давно уже его не видели таким. И именно благодаря этому настроению, должно быть, и случилось неслыханное. Ибо, вместо того чтобы дико вскочить и убежать оттуда, как он непременно поступил бы в подобном случае прежде, он совершенно спокойно и даже с добродушной улыбкой выслушал очень длинный и еще более скучный первый акт ужасающей трагедии, сочиненной юным, подающим большие надежды краснощеким лейтенантом с прелестно завитыми волосами, — лейтенант этот прочел свою трагедию вслух — весьма претенциозно и с немалым воодушевлением, как это и подобает счастливому автору. И более того: когда выше-сказанный лейтенант, отчитав свое, напористо осведомился у капельмейстера, что он думает об этом поэтическом произведении, Крейслер ограничился тем, что, восхищенно просияв, стал уверять юного героя войны и виршеплетства, что пробный акт — воистину лакомый кусочек, предложенный алчным эстетическим гурманам, — и в самом деле содержит совершенно замечательные и превосходные мысли, в пользу самобытной гениальности которых говорит уже то обстоятельство, что мысли эти некогда уже приходили в голову общепризнанным великим поэтам, как, например, Кальдерону, Шекспиру, а в наши дни — Шиллеру. Лейтенант заключил его в объятия с величайшей признательностью и, словно разглашая величайшую тайну, сообщил, что он намерен еще и нынче вечером осчастливить целый цветник отменнейших барышень, среди которых имеется даже одна графиня, которая читает по-испански и пишет маслом, итак — осчастливить их замечательнейшим из всех первых актов, кем бы и когда бы они ни были сочинены. Услышав заверение в том, что, поступив таким образом, он совершит необыкновенно благородный поступок, лейтенант преисполнился энтузиазма и убежал.

— Я поражаюсь тебе нынче, милый Иоганнес, и в особенности поражаюсь твоей неописуемой кротости! Как это ты смог выслушать сию невероятную ахинею так спокойно и с таким необыкновенным вниманием! У меня пошел мороз по коже, когда этот лейтенант напал на нас врасплох, а мы-то — не оповещенные никем — и не подозревали ни о какой опасности, — напал, а затем безжалостно заманил нас в западню, в бесчисленные петли, арканы и силки своих нескончаемых виршей. Я все время ждал, что ты вот-вот вмешаешься в течение событий, ты ведь порой именно так и поступаешь даже и с гораздо меньшим основанием; но ты оставался спокоен, и, более того, взор твой сиял удовольствием, и под конец, после того как я совершенно пал духом и уже испытывал к себе неописуемую жалость, ты начал подтрунивать над несчастным виршеплетом с иронией, которую он попросту не в состоянии понять, а ведь ты, по крайней мере, мог сказать ему, дабы предостеречь его на все грядущие случаи, что трагедия его слишком длинна и несколько не пострадала бы от препорядочной ампутации!

— Ах, — возразил Крейслер, — ах, ну чего бы я добился этим вялым и жалким советом? Ведь разве такой плодовитый автор, как наш лейтенант, способен с пользой предпринять какую бы то ни было ампутацию? Разве он решится отделить хоть кусочек от животрепетного тела своих стихов, разве не растут они у него прямо под рукой, как сорная трава? И разве ты не знаешь, что и вообще стихи наших юных поэтов обладают способностью к воспроизведению,

подобной той, которая свойственна ящерицам, у коих, как известно, хвосты как ни в чем не бывало отрастают снова, будучи оторваны начисто. Если ты, однако, полагаешь, что я спокойно выслушал завывания лейтенанта, то ты чрезвычайно заблуждаешься!.. Пронеслась гроза, все цветы и травы в саду подняли головки и жадно стали впивать небесный нектар, редкими каплями ниспадавший из облачной завесы. Я стоял под величавой цветущей яблоней и прислушивался к затихающим раскатам грома в отдаленных горах, и раскаты эти отзывались в моей душе, словно пророчествуя, словно предсказывая то неисповедимое, что еще свершится, – и я взирал ввысь, в небесную лазурь, чьи сияющие очи блаженно сверкали там и сям в разрывах редящих туч. Но тут меня позвал дядя, он крикнул мне, чтобы я сейчас же возвращался в комнату, чтобы я не смел портить новый шлафрок в цветочках – ведь такая мокреть и сырость непременно испортят его – и чтобы я не подцепил насморк, разгуливая по сырой траве. И вдруг оказалось, что это вовсе и не дядюшка, что это какой-то чрезмерно разговорчивый попугай или не в меру болтливый скворец за кустом, или в кустах, или бог знает где... Переменчивая тишина эта отчаянно дразнила меня, выкрикивая на свой лад чудеснейшие тирады из Шекспира. И это опять-таки был все тот же лейтенант со своей нескончаемой трагедией! – Ты, тайный советник, дай-ка себе труд заметить, что именно отроческие воспоминания отвлекли меня от тебя и от лейтенанта. Мне почудилось, что я и впрямь стою в дядином саду, а отроду мне лет двенадцать, никак не больше, – стою и кутаюсь в ситцевый шлафрок необычайно красивой расцветки – этакий взлет фантазии у обезумевшего фабриканта ситцев! – и тщетно ты, о тайный советник, расточал нынче королевские фимиамы своей курительной смеси – ибо я ничего не почуял, кроме аромата моей цветущей яблони, не почуял даже запаха масла, которым мажет свои пышные кудри этот самый виршеплет, кудри, которые, увы, никогда не будут увенчаны лаврами, надежно защищающими от ветра и дождя; бедняга ничего не вправе нахлобучить на голову свою, разве что фетр и кожу, выработанные в форме кивера, согласно соответствующим параграфам воинского устава. Но довольно, милейший, ты был из нас троих единственным жертвенным агнцем, единственным агнцем, обреченным на заклание, покорно подставившим шею свою под inferнальный нож трагедии нашего героического поэта. Ибо в то время как я, старательно избегая всех крайностей, закутался в пестренький шлафрок и с невообразимой резвостью подростка впрыгнул в много раз уже упомянутый садик, наш маэстро Абрагам, как видишь, успел извести целых три, а быть может, и все четыре листа отличнейшей нотной бумаги, вырезая из нее всяческие забавные фигурки. Стало быть, и он ускользнул от лейтенанта.

Крейслер был прав, маэстро Абрагам умел с изумительным искусством вырезать различные силуэты, неопытному глазу они поначалу казались некой хаотической путаницей линий; но стоило поместить свечу за этой ажурной ширмой, как в тени, отбрасываемой на стену, обнаруживались удивительные фигурки, сплетающиеся в разнообразнейшие замысловатые группы. Поскольку маэстро Абрагам всегда отличался решительным отвращением к каким бы то ни было чтениям вслух, то не могло быть и речи о том, чтобы потуги поэта-лейтенанта составили в этом смысле исключение. Понятно, что он, как только лейтенант начал скандировать свои вирши, жадно схватил лист упругой нотной бумаги, почему-то лежавшей на столе у господина тайного советника, извлек из кармана маленькие ножницы и приступил к невинному занятию, которое совершенно отвлекло его от лейтенантских посягательств.

– Послушай, – начал тут тайный советник, – послушай, Крейслер, этому воспоминанию о твоих отроческих годах, внезапно овладевшему твоей душой, я, пожалуй, должен приписать то, что нынче ты такой кроткий, такой милый... Но послушай, мой искренний друг. Мне, как и всем твоим верным друзьям и искренним почитателям, досадно, что я абсолютно ничего не знаю о начальных годах жизни твоей; ты всегда так неучтиво избегаешь отвечать на подобного рода вопросы, пусть даже и самые скромные; порою кажется даже, что ты намеренно стараешься набросить некую таинственную вуаль на свое прошлое; впрочем, эта таинственная

вуаль порою оказывается довольно прозрачной, и причудливо искаженные картины, просвечивающие сквозь нее, пробуждают наше любопытство и искушают нашу фантазию. Так будь же откровенен с теми, кого ты удостоил доверием своим!

Крейслер усталился на тайного советника, глаза его были широко раскрыты и полны удивления, как у человека, который, пробудившись от глубокого сна, увидел перед собой чье-то чужое, чье-то незнакомое лицо, и начал затем самым серьезным тоном рассказывать:

– В день святого Иоанна Златоуста, стало быть, двадцать четвертого января, года одна тысяча такого-то и такого-то, в полдень явился себе на свет мальчуган с носиком, с глазками, с ручками и ножками. Папенька его хлебал как раз гороховый суп и от превеликой радости пролил полную ложку прямо себе на подбородок, отчего родильница, хотя она и не видела этого происшествия собственными глазами, покатила со смеху, а смеялась она до того раскатисто, что, к большому неудовольствию лютниста, который как раз играл младенцу свою новейшую инструментальную пьесу, так называемую *мурки*, – так вот, на лютне вышесказанного лютниста от сотрясения, вызванного хохотом, лопнули все струны, и он, лютнист, поклялся атласным ночным чепцом своей бабушки, что во всем, что касается музыки, маленький Гансик-дуралей навсегда и по гроб жизни своей останется жалчайшим пентюхом! Папенька же, обтерев свой подбородок, патетически произнес: «И в самом деле он будет наречен Иоанном, но дуралеем он отнюдь не будет». Лютнист же...

– Умоляю тебя, – прервал капельмейстера маленький тайный советник, – умоляю тебя, Крейслер, не впадай, ради всего святого, в тот проклятый род юмора, который мне, да будет позволено мне это сказать, поперек горла становится. Да разве я требую от тебя, чтобы ты преподнес мне свою прагматическую автобиографию? Многого ли я от тебя прошу, много ли хочу? Да всего лишь заглянуть разок-другой в твое прошлое, в те времена, когда мы еще вовсе не были знакомы! Неужели тебя так раздражает мое любопытство? Ведь единственный источник его – моя глубочайшая к тебе привязанность, привязанность искренняя и чистосердечная! И к тому же ты вынужден будешь согласиться, что ведешь себя довольно странно, тем самым заставляя всех думать, что только необычайно пестрая жизнь, только вереница фантастических приключений повинны в том, что личность твоя отлилась в такой своеобразной психической форме!

– О, это величайшее заблуждение, – проговорил Крейслер, глубоко вздохнув, – о, это глубочайшее заблуждение – ибо юность моя подобна выжженной степи, где нет ни бутонов, ни цветов, подобна выжженной степи, усыпляющей разум и душу своим безутешным дремотным однообразием.

– Нет, нет, – воскликнул тайный советник, – это вовсе не так, ибо я, по крайней мере, знаю, что в этой степи зеленеет прехорошенький садик, а в нем – цветущая яблоня, которая благоухает куда приятней и сильнее, чем мой тончайший и замечательнейший королевский табак. Что ж! Я думаю, Иоганнес, что ты извлечешь из кладезя своей ранней юности то самое воспоминание, которое нынче, как ты только что сказал, овладело всей твоей душой.

– Мне тоже, – проговорил маэстро Абрагам, занятый окончательной отделкой тонзуры только что изготовленного капуцина, – мне тоже думается, Крейслер, что вы в вашем нынешнем вполне терпимом настроении превосходно поступили бы, если бы открыли ваше сердце или душу – или как вы там еще называете эту вашу заветную шкатулку с драгоценностями – и извлекли бы из нее кое-что! Одним словом, если уж вы сболтнули, как вы однажды вопреки воле озабоченного дядюшки выбежали под дождь и суеверно внимали пророчествам умирающего грома, то вы, конечно, можете подробнее рассказать нам о том, как все это тогда происходило. Только не выдумывайте, Иоганнес, ведь вам превосходно известно, что, во всяком случае, в ту пору, когда вы носили свои первые штаны, и потом, когда вам в волосы вплели первую косицу, вы находились под моим бдительным присмотром.

Крейслер хотел что-то возразить, но маэстро Абрагам быстро обратился к маленькому тайному советнику и сказал:

– Вы даже не поверите, драгоценнейший мой, сколь беззаветно наш Иоганнес предается злему духу лжи, когда он – что, впрочем, случается с ним весьма редко – рассказывает о том, что происходило с ним давным-давно, где-то на заре его юных дней! В том милом возрасте, когда дети еще лепечут «бе-бе» и «ме-ме» и пытаются схватить пламя свечи, в этом милом возрасте он уже будто бы все сопоставил и постиг и успел проникнуть взором в заповедные глубины сердца человеческого.

– Вы несправедливы ко мне, – произнес Крейслер самым нежным тоном и кротко улыбнулся при этом. – Вы очень несправедливы ко мне, маэстро! Ну неужели я решился бы уверять вас, что я еще в раннем детстве отличался необыкновенными умственными способностями? Неужели же я пытался бы наговорить вам об этом с три короба, как обычно поступают тщеславные хвастуны и бахвалы?! Но я спрашиваю тебя, тайный советник, не случается ли порою и с тобой так, что перед тобой, перед твоею душой, будто выхваченные из мрака, возникают вдруг мгновения того времени, той эпохи, которую иные изумительные умники склонны считать эпохой чистейшего прозябания? В ней они не видят ничего, кроме сугубо инстинктивных проявлений, а ведь по части инстинктов мы, люди, далеко уступаем животным! Полагаю, что все это необыкновенно сложная материя. Мгновение, когда в нашей душе впервые пробуждается ясное сознание, – неустановимо и едва ли когда-либо будет установлено и исследовано. Если бы такое пробуждение происходило сразу, мгновенно, одним рывком, мы с вами, я полагаю, попросту умерли бы от ужаса. Кто в жизни не испытал первых мгновений пробуждения от глубокого сна, от бессознательного сонного забвения, когда человек, вновь ощутив свое собственное существование, как бы заново вспоминает о самом себе. Однако, чтобы не забираться в особые дебри, я полагаю, что всякое сильное физическое впечатление, полученное на заре этой эпохи развития, оставляет после себя как бы некое семечко, некое зернышко, которое именно и заключает в себе дальнейшую возможность духовного развития; и таким образом, всякая боль, всякая радость тех изначальных мгновений утреннего тумана продолжает жить в нас: это те сладостно-печальные голоса любимых, которые, когда они пробуждают нас ото сна, кажутся нам всего лишь приснившимися, всего лишь сновидениями нашими и которые на самом деле продолжают жить и звучать в наших душах наяву.

Я знаю, однако, на что намекает маэстро. Не на что иное, как на историю с моей покойной тетушкой, историю, которую он пытается оспорить и которую я, дабы его позлить, сейчас расскажу, но, впрочем, расскажу ее именно тебе, драгоценный советник, конечно, если ты пообещаешь не вменять мне в вину некоторую чрезмерную ребяческую чувствительность. Итак, то, что я поведал тебе о гороховом супе и о лютнисте...

– О, – прервал капельмейстера маленький тайный советник, – о, молчи, теперь-то я прекрасно вижу, что ты намерен водить меня за нос, а это ведь и неучтиво, и даже крайне безнравственно!

– Никоим образом, – воскликнул Крейслер, – никоим образом, душа моя! Но я все-таки должен начать с лютниста, ибо он образует естественнейший переход к лютне, райские звуки которой убаюкивали младенца в его золотых снах. Младшая сестра моей матушки была истинной виртуозкой на этом инструменте, сосланном теперь в музыкальные чуланы. Солидные люди, умевшие писать и считать и еще кое в чем понимавшие толк, проливали слезы в моем присутствии, вспоминая, как дивно играла на лютне покойная барышня Софи. Поэтому можно ли винить меня в том, что я, младенец, томимый жаждой, еще совершенно бессознательно и безотчетно, ибо сознание является на свет лишь вместе со словами и связной речью, пил жадными глотками и блаженно впитывал всю печаль изумительного волшебства звуков, всю колдовскую печаль, которую лютнистка изливала из глубины души своей! Лютнист, игравший над моей колыбелью, как раз и был учителем покойной тетушки Фюсхен; он был призе-

мистый, довольно кривоногий, а звали его месье Туртель. Мне памятен еще его аккуратнейший белый парик с широким кошельком на затылке и его, месье Туртеля, алый плащ.

Я перечисляю все эти подробности для того лишь, чтобы доказать, сколь ясно вспоминаются мне образы тех времен, и чтобы ни маэстро Абрагам, ни еще кто-нибудь не усомнились в правоте моих слов, когда я стану уверять вас, что крохотным карапузом, которому еще и трех не исполнилось, я вижу себя на коленях юной девушки, чьи кроткие очи озаряют душу мою; что я и доселе слышу ее голос: ведь она говорила со мной, пела мне; и ей, этому небесному созданию, дарил я всю свою любовь и всю свою младенческую нежность! А это как раз и была моя тетя Софи, которую родичи называли престранным уменьшительным именем Фюсхен. Однажды я очень огорчился, рыдал и хныкал оттого, что тетушка Фюсхен куда-то запропастилась и чуть ли не до вечера не показывалась мне. Нянюшка взяла меня на руки, и мы с ней отправились в комнату, где моя милая тетушка Фюсхен лежала в постели, но какой-то старик (он сидел у постели) мгновенно вскочил на ноги, распек мою воспитательницу и выпроводил нас.

Вскоре затем меня одели, тщательно закутали в толстые платки и потащили в какой-то чужой дом к совершенно незнакомым людям: все они тут же начали уверять меня, что они тоже мои дядюшки и тетушки, а тетенька Фюсхен очень больна и я, если бы только я у нее остался, непременно заболел бы тоже. Прошло несколько недель, и меня вернули туда, где я жил прежде. Я плакал, я вопил, я хотел к тете Фюсхен. Как только я пришел в ту комнату, я засеменил к постели, в которой лежала некогда тетя Фюсхен, и раздвинул занавески. Постель была пуста, и некая особа, опять-таки моя тетка, сказала, заплакав: «Ты не найдешь ее больше, Иоганнес, она умерла и лежит в земле».

Я прекрасно знаю, что не мог тогда понять смысл этих слов, но еще и нынче, вспоминая то мгновение, я весь дрожу от неведомого чувства, которое меня охватило тогда.

Сама Смерть сдавила меня своим ледяным панцирем, смертельный ужас проник в мою душу, и от него окоченела и застыла вся радость начальных лет отрочества. – Что я стал делать, я теперь уже не помню, я, должно быть, никогда бы и не узнал об этом, но мне частенько рассказывали, что я медленно опустил занавеси полога и, совершенно серьезный и тихий, простоял несколько мгновений, но потом, как бы глубоко погруженный в себя и раздумывая над тем, что мне только что сказали, сел на маленький бамбуковый стульчик, который как раз подвернулся мне под руку.

Рассказывали еще, что в этой тихой печали у ребенка, привыкшего к живейшим проявлениям чувств, было нечто неописуемо трогательное и что родные мои опасались даже вредного воздействия на душу мою, так как я несколько недель не смеялся, оставался в таком же состоянии, не плакал, ни во что не играл, не откликался ни на какие ласковые слова и ничего вокруг себя не замечал.

В это мгновение маэстро Абрагам взял в руки лист, прихотливо изрезанный вкривь и вкось, подержал его перед горящими свечами, и на стене отразился целый хор монахинь, играющих на престранных инструментах.

– Ха-ха, – воскликнул Крейслер, увидя великолепно скомпонованную группу сестер монахинь, – ха-ха, маэстро, я прекрасно знаю, что именно вы мне хотите напомнить! Я и нынче еще дерзко полагаю, что вы были не правы, ругая меня, называя меня упрямым, непонятливым мальчуганом, который своим глухим, диссонирующим голосом способен нарушить гармонию и сбить с такта целый поющий и играющий монастырь. Разве я не был в то время, когда вы меня повели за двадцать или тридцать миль от моего родного города в монастырь Святой Клариссы послушать первую подлинно католическую церковную музыку, разве я тогда, говоря я, был не вправе с полным основанием притязать на самое пленительное озорство и самое восхитительное безделье, ибо я тогда был как раз в расцвете своих лентяйских и озорных лет? Разве это не было тем прекраснее, что, несмотря на все это, давно зарубцевавшаяся боль трехлетнего

мальчика пробудилась с новой силой и породила безумие, которое наполнило мою грудь убийственным восторгом и душераздирающей грустью.

И разве мне не следует заметить и вопреки всем возражениям настаивать, что на том удивительном инструменте, который назывался *trompette marine*²⁷, играла именно тетя Фюсхен, хотя она давно уже умерла? Почему вы мне не дали ворваться в хор, где я вновь обрел бы ее, в ее зеленом платье с розовыми бантами!

И тут Крейслер устался в стену и заговорил взволнованным, дрожащим голосом:

– И в самом деле – тетя Фюсхен выделяется среди монахинь! Она поднялась на скамеечку, чтобы удобнее было управляться с тяжелым инструментом.

Но тайный советник подошел к нему, схватил его за плечи и начал:

– И в самом деле, Иоганнес, было бы разумнее, если бы ты не поддавался своему капризному воображению и не толковал бы об инструментах, которые вовсе не существуют в природе, ибо ни разу в жизни своей я ничего не слышал о тромбомарине!

– О, – смеясь воскликнул маэстро Абрагам, бросая под стол лист бумаги, вернее, весь женский монастырь, который быстро исчез где-то под столом вместе с химерической тетей Фюсхен и ее тромбомариной, – о мой достойнейший тайный советник, господин капельмейстер сегодня, как и всегда, остается разумным и спокойным человеком, а отнюдь не фантастом или шутником, каким его многие хотели бы представить. Разве невероятно, что лютнистка после своей кончины успешно занялась игрой на необычайном инструменте, который, пожалуй, еще и нынче можно обнаружить кое-где в женских монастырях? Так стоит ли удивляться этому? – Как, неужто *trompette marine* не существует? Соболаговолите только просмотреть соответствующую статью в «Музыкальном лексиконе» Коха, который, кстати, есть и в вашей библиотеке.

Тайный советник тут же раскрыл словарь и прочел вслух: «Этот старинный, весьма примитивный смычковый инструмент состоит из трех тонких дощечек в семь футов длиной, которые внизу, там, где инструмент опирается на пол, имеют от шести до семи вершков ширины, наверху же, однако, не более двух вершков; доски эти склеены в форме треугольника, так что корпус, который наверху оснащен чем-то вроде колкового ящика, резко сужается кверху. Одна из этих трех досок служит декой, она снабжена несколькими резонансными отверстиями, и на ней натянута одна-единственная довольно толстая жильная струна. При игре инструмент ставят наискось перед собой и упирают верхнюю часть его в грудь. Большим пальцем левой руки играющий прижимает струну, очень мягко, примерно так, как при флейтино или флажолетах на скрипке, в то время как правая рука водит смычком по струне. Своеобразный звук этого инструмента, подобный звуку приглушенной трубы, создается особой подставкой, на которой покоится струна внизу на резонаторе. Эта подставка несколько напоминает по форме маленький башмачок – спереди она совсем низенькая и тонкая, сзади же, напротив, выше и толще. К задней части ее и примыкает струна, чем и обуславливается то, что, когда по ней водят смычком, она своими колебаниями двигает вверх и вниз переднюю легкую часть подставки на резонаторе, благодаря чему и возникает звук, имеющий носовой оттенок, несколько напоминающий звучание приглушенной трубы».

– Сделайте мне такой инструмент, – воскликнул тайный советник, и глаза его засверкали. – Сделайте мне такой инструмент, маэстро Абрагам, и я заброшу в угол скрипку, не прикоснусь больше к эвфону, а стану приводить двор и город в изумление, играя удивительнейшие пьесы на тромбомарине!

– Я непременно сделаю его, – ответил маэстро, – и да снидет к вам, лучший из тайных советников, дух тети Фюсхен в платье из зеленой тафты – и да вдохновит он и одухотворит вас, как это и положено духу.

²⁷ Тромбомарина (*фр.*).

Тайный советник в восторге обнял маэстро Абрагама, но Крейслер развел их, выговаривая им даже с некоторой злостью:

– Ах, ну разве вы не худшие шутники, чем я был когда-то, да еще и лишённые жалости к тому, кого вы будто бы любите? Довольно и того, что вы, подробно и детально описав музыкальный инструмент, звуки которого некогда потрясли мою душу, как бы ледяной водой остудили мое разгоряченное тело... Итак, ни слова более, ни слова более о лютнистке! – Ну, что ж! Ты ведь хотел, о тайный советник, чтобы я рассказал о своей юности, а поскольку маэстро даже специально вырезал целую кучу силуэтов, соответствующих тем или иным моментам этой незабвенной поры, ты вправе теперь наслаждаться, так сказать, роскошным изданием материалов к моей биографии, снабженным великолепными иллюстрациями работы маэстро Абрагама!

Однако, когда ты читал статью из коховского лексикона, мне вспомнился коллега почтенного Коха – лексикограф Гербер и мне привиделся мой собственный труп, распростёртый на секционном столе в морге и вполне готовый к биографическому вскрытию, к жизнеописательному потрошению. – Прозектор мог бы сказать: «Нет ничего удивительного, что во внутренностях этого молодого человека по тысячам жил и жилочек струится одна только музыкальная кровь, она одна – и ничто иное, ибо именно так обстояло дело со многими его кровными родственниками, чьим кровным родственником он именно потому и является». – Я хочу именно сказать, что большинство моих дядей и теток, которые, как это с давних пор известно маэстро Абрагаму и как ты только что узнал, имелись у меня в превеликом множестве, итак, что все эти родичи музицировали, да к тому же еще на таких диковинных инструментах, какие и тогда были большой редкостью, а в наши дни уже почти исчезли, так что я теперь лишь в мечтах и сновидениях внемлю тем изумительно звучащим концертам, коим я внимал некогда наяву, – а было мне тогда отроду лет десять-одиннадцать! Очень может быть, что именно поэтому мой музыкальный талант уже при первом своем проявлении, еще, так сказать, в зачаточном состоянии, принял своеобразное направление, выражающееся в присущем мне характере инструментовки; направление это нередко отвергают как чрезмерно фантастическое! Если ты можешь, тайный советник, удержаться от слез, слушая прекрасную игру на благороднейшем и стариннейшем инструменте – на *viola d'amore*, то возблаговари Создателя за твою крепкую конституцию! – я же всегда утирал слезы, слушая, как на виоли д'амур играет кавалер Эссер, а в прежние дни я плакал даже еще сильнее, когда рослый человек почтенной наружности, которому духовное платье было чрезвычайно к лицу и который опять-таки был одним из моих дядюшек, играл мне на этом инструменте. Вот, кстати, игра другого моего родича на *viola di gamba* была весьма приятной, благозвучной и даже увлекательной, хотя тот самый дядюшка, который меня воспитывал или, вернее сказать, вовсе не воспитывал и который с варварской виртуозностью терзал клавиши спинета, упрекал вышеупомянутого виольдегамбиста в полнейшем непопадании в такт. Этого моего родича, беднягу, глубоко презирала вся родня, ведь семейству моему стало известно, что он превесело сплясал под звуки сарабанды – *менуэт à la Pompadour*. Я мог бы вам вообще очень много поведать о музыкальных развлечениях и уладах в моем семействе, которые нередко бывали единственными в своем роде, но со всем этим неразрывно связано множество гротескных подробностей, – стало быть, вы непременно будете смеяться, а выставлать моих дражайших родственников на посмеяние я никак не могу, ибо я свято чту принцип *respectus parentelae*...²⁸

– Иоганнес, – начал тайный советник, – Иоганнес, ты, по кротости своей, не рассердишься на меня, если я затрону в твоей душе струну, прикосновение к которой, быть может, причиняет тебе боль. Ты всегда говоришь о дядях, о тетках и никогда не упоминаешь об отце и матери.

²⁸ Уважение к родственникам (*лат.*).

– О, мой друг, – возразил Крейслер (чувствовалось, что он глубоко взволнован). – О, мой друг, как раз нынче я вспомнил. Но нет, ни слова более о воспоминаниях, о мечтах: ничего о том мгновении, которое пробудило сегодня всю пережитую, но так и не понятую боль моей ранней отроческой поры, но покой сошел потом в мою душу – покой, напоминающий ту пророческую лесную тишину, когда гроза и буря уже пронеслись, уже миновали! Да, maestro, вы правы, я стоял под яблоней, внемля пророческому голосу уплывающего грома. – А ты, о мой тайный советник, сможешь яснее представить то бесчувственное, тягостное отупение, в котором я пребывал, должно быть, несколько лет подряд, после того как утратил тетю Фюксен, ежели я признаюсь тебе, что кончина моей матери, происшедшая вскоре после описанных мною событий, не произвела на меня особенного впечатления, не потрясла меня. Ну, о том, почему мой отец отдал меня на воспитание брату моей матери – или, пожалуй, вынужден был отдать, я ничего тебе не скажу, – впрочем, все это донельзя похоже на зачитанные до дыр романы из семейной жизни или на иффландовские комедии о всякого рода семейных дразгах! Достаточно сказать, что если все мои отроческие годы, да и почти вся юность моя прошли в безутешном одиночестве, то это следует приписать именно тому обстоятельству, что я, подрастая, был лишен родительской опеки. Самый никудышный отец, я полагаю, все же много лучше, чем самый превосходный воспитатель, и мороз подирает по коже, когда я вижу, как родители с холодным равнодушием удаляют своих детей от себя и отдают во всякого рода воспитательные заведения, где их, бедных, кроют согласно определенной мерке, нисколько не учитывая при этом их индивидуальности, а ведь именно их родителям она должна быть вполне ясна, как никому другому. Ну а что касается воспитания как такового, то едва ли кто на свете удивится тому, что я остался невоспитанным, ибо мой дядюшка отнюдь не воспитывал меня, а попросту отдал меня на произвол учителей, которые приходили на дом, ибо я не посещал школы и не водился с моими сверстниками, дабы ничем не нарушить спокойствия, царившего под кровом уединенного дома, где обитал мой дядя-холостяк со своим престарелым меланхолическим лакеем. Я вспоминаю только три различных случая, когда мой почти до тупоумия равнодушный дядюшка предпринял некое лаконичное воспитательное действие, влепив мне пощечину. Таким образом, за все мои отроческие лета я в общей сложности получил всего лишь три оплеухи. Я мог бы тебе, мой тайный советник, раз уж я нынче в таком болтливом настроении, изложить историю этих трех пощечин в виде некоего романтического триптиха, но я, пожалуй, извлеку из них лишь среднюю оплеуху, ибо знаю, что ни на что другое ты так не падок, как на историю моих музыкальных занятий, и тебе будет небезразлично узнать, как я впервые в жизни занялся сочинением музыки. У дядюшки моего была довольно большая библиотека, в которой мне было дозволено рыться сколько моей душе угодно; там-то мне в руки и попала «Исповедь» Руссо в немецком переводе. Я залпом прочел эту книгу, написанную отнюдь не для двенадцатилетнего мальчишки; книга эта, конечно же, могла заронить в мою душу семена многих грядущих зол. Впрочем, только один-единственный момент из всех описанных там, порою весьма сомнительных и рискованных, происшествий настолько завладел моей душой, что я, занятый им, забыл обо всем прочем. А именно: будто электрический удар поразила меня история о том, как отрок Руссо, побуждаемый мощным духом музыки, проснувшись в его груди, во всем же прочем – без малейших познаний по части гармонии, контрапункта и всех прочих необходимых сведений и навыков, – решил сочинить оперу и как он опускает занавеси на окнах, как бросается в постель, чтобы всецело предаться вдохновенной силе своего воображения, и как его творение возникает в нем, подобно волшебной мечте или сновидению. Днем и ночью меня не оставляла мысль об этом мгновении, в которое, как мне казалось, на мальчика Руссо снизошло высшее блаженство! Порою мне уже чудилось, что и сам я тоже стал сопричастен этому блаженству, стало быть, лишь от моего собственного твердого решения зависело, воспарю ли я в этот рай, ибо ведь Дух Музыки несомненно столь же мощно окрыляет меня, как окрылял он некогда незабвенного автора «Исповеди».

Одним словом, я решил попытаться подражать тому, кого я взял в пример. Итак, когда в один ненастный осенний вечер мой дядюшка, вопреки своему обыкновению, ушел из дому, я тотчас же опустил занавеси и бросился на дядюшкину постель, чтобы, как Руссо, душою своей воспринять нисходящую свыше оперу. Исходные условия были, казалось, совершенно благоприятны, но, как я ни пытался привлечь к себе творческий дух, он упорно и своенравно не желал нисходить на меня. В ушах моих вместо всех несравненных мелодий, вместо всех музыкальных идей, которые должны были озарить меня, звучала одна только старая-престарая и довольно убогая песенка. Плаксивый текст этого шедевра начинался следующим образом: «Любил я лишь Исмену, Исмена лишь меня!» – и песенка эта никак не желала от меня отвяжаться, хотя я и всячески отбивался от нее. – «Теперь пусть прозвучит возвышенный хор жрецов: „С высот заоблачных Олимпа“», – воскликнул я, но «Любил я лишь Исмену» продолжало жужжать как ни в чем не бывало, и все это длилось непрестанно, пока я напоследок не заснул самым крепким сном. Меня разбудили громкие голоса, нестерпимое зловоние, которое било в нос, а в груди у меня спирало дыхание. Вся комната была полна густого дыма, и в клубах его стоял дядюшка; он швырнул на пол и стал топтать остатки пылающей гардины, которой был прикрыт платяной шкаф, крича при этом: «Воды сюда, воды, воды!» – пока старик-слуга не натаскал воды в достаточном количестве и не вылил ее на пол, после чего огонь погас. Дым медленно уползал в окно.

«Где этот несчастный?» – спросил дядюшка, топчась в комнате со свечой в руках.

Я прекрасно знал, кого именно он имеет в виду, но оставался в постели: я лежал тихо, как мышь, пока дядя не подошел к своему ложу и не заставил меня спуститься на пол, гневно воскликнув: «А не угодно ли вам будет немедленно выбраться отсюда? Этот злодей сожжет дотла весь мой дом!» – продолжал дядюшка. Отвечая на вопросы, последовавшие затем, я преспокойно заявил, что хотел поступить точно так же, как мальчик Руссо, если верить содержанию его «Исповеди», – сочинить в постели целую *opera seria*²⁹ – и что я знать не знаю и ведать не ведаю, отчего, собственно, возник пожар. «Руссо? Сочинить? *Opera seria*... Ах, каналья!» – так заикался дядюшка в гневе и залепил мне здоровенную оплеуху, которую я заприходовал как вторую в отрочестве своем, так что я, окаменев от ужаса, застыл, как бы лишившись дара речи, и в этот миг мне, как отзвук оплеухи, послышалось совершенно явственно: «Любил я лишь Исмену» etc. etc.... С этого мгновения я начал испытывать живейшее отвращение как к этой песенке, так и к восторгам музыкального сочинительства.

– Да, но как же возник пожар? – спросил тайный советник.

– Еще и нынче, – ответил Крейслер, – еще и в это мгновение я никак не могу постичь, из-за какой, собственно, случайности загорелась гардина, причем погиб прекрасный шлафрок моего дядюшки, а также три или четыре великолепно завитых тупея, которыми дядюшка как бы отдельными париковыми фрагментами уснащал свою величественную прическу. Мне всегда казалось также, что я получил пощечину не из-за пожара, в котором вовсе не был повинен, но только лишь за то, что занялся сочинением музыки. Это было странно, потому что дядюшка усиленно заставлял меня музицировать, несмотря на то что учитель, введенный в заблуждение временной неохотой, которую я тогда проявлял, считал меня совершенно бездарным по этой части. Ко всему тому, что я ревностно изучал или не учил вовсе, мой дядюшка относился с полнейшим равнодушием: это его нисколько не занимало. Так как он иногда выражал живейшее неудовольствие тем, что меня так трудно приохотить к музыкальным занятиям, можно было бы подумать, что он чрезвычайно возрадовался, когда несколько лет спустя Дух Музыки проявился во мне с такой силой, что заглушил все прочие мои дарования. Однако же ничего подобного не произошло. Дядюшка только чуточку посмеивался, заметив, что я вскоре стал играть на нескольких инструментах с известной виртуозностью, да и, более того, стал сочинять

²⁹ Серьезную оперу (*ит.*).

кое-какие маленькие пьески, к вящему удовольствию своих наставников и других знатоков. Да-да, он лишь слегка улыбался, когда ему восхваляли меня до небес, он лишь замечал с хитровой усмешкой: «Да, племянник мой – форменный сумасброд!»

– Но все-таки, – заговорил тайный советник, – но все-таки мне совершенно непонятно, почему твой дядюшка не дал воли твоему стремлению, а, напротив, заставил тебя избрать себе другое поприще. Ибо, насколько я знаю, ты капельмейстерствуешь с не слишком давних пор.

– И также не слишком далеко зашел в этом занятии! – смеясь воскликнул маэстро Абрагам и, отбросив на стену силуэт маленького человечка странного телосложения, продолжал: – Однако же теперь следует вступить за добропорядочного дядюшку, которого некий нечестивый племянничек называл дядюшкой Огорчением, потому что его звали Оттфрид Венцель: да-да, теперь я должен вступить за него и уверить весь белый свет, что если капельмейстер Иоганнес Крейслер вбил себе в голову сделаться советником посольства и самоотверженно заняться вещами, глубоко противными его внутренней природе, то никто не повинен в этом меньше, чем помянутый дядюшка Огорчений.

– О, ни слова более, – сказал Крейслер, – о, ни слова об этом, маэстро, и снимите скорее моего дядюшку со стены, ибо если он и впрямь выглядит достаточно смехотворно, то мне не хотелось бы именно сегодня смеяться над стариком, который уже давно покоится в могиле.

– Вы нынче в чрезвычайно чувствительном настроении, – возразил маэстро, но Крейслер не обратил внимания на его слова, а сказал, обращаясь к маленькому тайному советнику:

– Ты еще пожалеешь, что заставил меня разболтаться, ибо тебе, по-видимому ожидающему чего-то экстраординарного, я могу поведать лишь то, что бывает в жизни тысячи раз, самое обычное, и не более того!

Так вот и вышло, что не по воспитательному принуждению, не по особенному упрямству судьбы, нет, обычнейшим ходом вещей я был поставлен в такое положение, что невольно угодил туда, куда вовсе не хотел попасть. Не замечал ли ты, что в каждом семействе бывает обычно этаким кумир, который из-за особой гениальности или же просто благодаря особо благоприятному стечению обстоятельств возносится на известную высоту и, как герой или полубог, стоит в центре круга, а милые родичи смиренно взирают на него снизу вверх – на героя, чей повелительный голос, чьи решительные речи выслушиваются без возражений, чьи приказы и решения окончательны и обжалованию не подлежат? Так именно и обстояло дело с младшим братом моего дядюшки, который выпорхнул из музыкального семейного гнездышка и стал в столице тайным советником посольства, довольно значительной персоной в ближайшем окружении князя. Его карьера, история его непрерывного возвышения привели всю мою родню в изумление и восторг, и чувства эти нисколько не ослабели от времени. Имя советника посольства упоминалось с торжественной серьезностью, и когда кто-либо произносил: «Тайный советник посольства написал то-то и то-то» или «Тайный советник посольства сказал так-то и так-то», то все внимали этим словам в немом благоговении. Из-за этого уже с самого раннего моего детства я привык к тому, чтобы считать дядю, обитающего в столице, кумиром, который достиг высшей цели всех человеческих стремлений, и, конечно же, я должен был находить естественным, что мне ничего другого не остается, кроме как пойти по его стопам. Портрет моего знатного родственника висел в парадной комнате, и у меня не было большего желания, чем ходить одетым и причесанным так, как дядя на картине. Воспитатель мой узнал и исполнил это мое желание, и, должно быть, я, десятилетний мальчуган, премило выглядел в завитом тупее, устремленном в небеса, с маленьким, совершенно круглым кошельком для волос и во фраке светло-зеленого цвета – с узеньким серебряным шитьем; в шелковых чулках, при маленькой шпаге. Это ребяческое желание делалось тем глубже, чем старше я становился, и для того, чтобы приохотить меня к зубрежке скучнейших наук, достаточно было сказать мне, что изучение их действительно необходимо для того, чтобы я, подобно дяде, мог когда-нибудь стать советником посольства. То, что искусство, которым была полна моя душа, вправе стать

моим единственным устремлением, единственной подлинной целью моей жизни, – тем менее приходило мне в голову, что я привык слушать, как о музыке, живописи, поэзии говорили, что это, мол, весьма приятные вещи, служащие для нашего развлечения и увеселения, но не более. Быстрота, с которой я, ни разу не встретив ни единого препятствия благодаря приобретенным мною познаниям и дядиной поддержке, делал карьеру в столице на том поприще, которое я в известной мере избрал сам себе, не оставила мне ни единого лишнего мгновения, чтобы осмотреться, чтобы увидеть и осознать, что избранный мною путь заводит меня совсем не туда, куда мне хотелось попасть.

Цель была достигнута, обратиться вспять не было уже никакой возможности, когда в один неожиданный момент искусство, которому я изменил, стало мне мстить, когда мысль о том, что я напрасно потратил свою жизнь, наполнила меня безутешной болью, когда я увидел, что на мне оковы, казавшиеся мне несокрушимыми.

– Какое счастье, – воскликнул тайный советник, – какое счастье; так, значит, катастрофа, вызволившая тебя из этих оков, принесла тебе исцеление?

– Не говори так, – возразил Крейслер, – освобождение пришло слишком поздно. Я похож на того узника, который так отвык от мирского шума, суматохи и дневного света, что, когда наконец пробил час освобождения, будучи не в силах вкушать золотые плоды вольности, вновь пожелал вернуться в свою темницу.

– Ну это, – сказал маэстро Абрагам, – лишь одна из ваших сумасбродных идей, которыми вы терзаете себя и других! Идите, идите! – судьба всегда благоприятствовала вам, но то, что вы никогда не можете оставаться в привычной колее, то, что вы вечно скачете то вправо, то влево, то вовсе сбиваетесь с пути, – в этом вам некого винить, кроме себя самого. Впрочем, вы правы в том, что в ваши отроческие годы звезда ваша была к вам особенно благосклонна и...



Раздел второй

Жизненный опыт юноши. И я рожден в Аркадии счастливой



(*Мурр пр.*)...Было бы весьма нелепо и в то же время совершенно замечательно, – сказал в один прекрасный день мой маэстро, обращаясь к себе самому, – если бы тот добрячок-серячок из-под печки и впрямь обладал бы всеми теми свойствами, которые ему приписывает мой любезный профессор! – Гм! Я полагаю, он мог бы озолотить меня куда лучше, чем даже незримая девушка. Я запер бы его в клетку и заставил бы показывать штуки всему свету, а люди охотно и щедро платили бы мне за это. Ученый и высокообразованный кот – это нечто куда более занятное, чем развившийся не по годам малыш, которому вбивают в голову всяческие грамматические премудрости. Помимо всего прочего, я сэконобил бы на писце! – Итак, следует получше присматривать за этим шустрым малым.

Услышав коварные слова моего маэстро, я вспомнил предостережение моей незабвенной матушки Мины и, стараясь никоим образом не выдать, что я понял, о чем говорит маэстро, твердо решил в дальнейшем тщательно скрывать свою образованность. Посему с этих пор я стал читать и писать только по ночам и, кстати сказать, возблагодарил доброту и благосклонность Провидения, давшего моему презираемому племени многие преимущества перед двуногими, которые, бог знает почему, называют себя царями природы. Смело могу заверить, что в часы своих ученых бдений я ничем не обязан ни мастерам, льющим свечи, ни фабрикантам светильного масла, ибо фосфор моих глаз ярко светит в самые мрачные ночи! Несомненно также, что мои произведения не заслуживают того упрека, который был сделан некоему античному автору, а именно что продукты его разума пахнут ламповым маслом.

Но, глубоко убежденный в величайших преимуществах, какими меня наделила природа, я должен, однако, признать, что на этом свете решительно все несовершенно, а все мы во многом сами себя закабалили. О склонностях нашего грешного тела, которые врачи именуют противоестественными, невзирая на то что они мне кажутся, напротив, более чем натуральными, я совсем не хочу говорить, а скажу только, что в психике нашей взаимозависимости с телом проявляются более чем ясно. Все согласны с тем, что наш полет нередко сдерживают те свинцовые грузила, о которых мы и сами не ведаем, что они собой представляют, откуда они взялись и кто их нам привесил?!

Но лучше и правильнее, пожалуй, будет, если я замечу, что все зло происходит от дурного примера и что слабости нашей природы происходят только лишь от того, что мы вынуж-

дены следовать дурному примеру. Я убежден также, что род человеческий, собственно говоря, именно к тому и предназначен, чтобы подавать дурной пример.

Разве ты, о милый юноша-кот, перечитывающий эти строки, в жизни своей не попадал в положение, которое, необъяснимое тебе самому, везде и всюду превращало тебя в мишень для горчайших упреков, и, быть может, даже приходилось тебе при этом терпеливо сносить неучтивость твоих сотоварищей-коллег, которые иногда покусывали тебя – и преобильно к тому же! Ты делался ленив, драчлив, малопристойен, прожорлив, ты ни в чем не находил удовольствия, ты оказывался там, где тебе не следовало быть, становился всем в тягость, короче говоря, ты делался совершенно невыносимым малым! – Утешься, о кот! Не в твоей собственной глубокой душе таятся корни сего ужасного периода твоей жизни. О нет, это была дань, которую ты платил управляющему нами принципу, тем самым, что и ты следовал дурному примеру людей, а ведь именно они и ввели в жизнь это вот преходящее состояние. Утешься, о котик! Ведь и у меня самого дела обстояли нисколько не лучше!

В самый разгар моих полуночных трудов на меня вдруг напала некая удивительная апатия, словно бы я пресытился какими-то неудобоваримыми яствами. Я свертывался в клубочек и засыпал на той самой книге, которую только что перелистывал, на том самом манускрипте, который я писал. Эта леность возрастала все более и более, так что в конце концов я больше не мог писать, читать, бегать, прыгать, больше не мог развлекаться и обмениваться мнениями со своими коллегами в погребке и на крыше. Вместо всего этого я ощущал непреодолимое стремление делать все то, что моему маэстро и его друзьям никак не могло быть приятно, очень докучая им своим поведением. Что касается моего маэстро, то долгое время он ограничивался лишь тем, что гнал меня, когда я избирал своим ложем именно те места, где он меня заведомо не желал терпеть, пока он в конце концов не оказывался вынужденным устроить мне маленькую нахлобучку. А именно – я неоднократно вспрыгивал на письменный стол моего маэстро и так долго махал хвостом туда и сюда, покамест кончик оного не попадал в большую чернильницу, после чего я кончиком хвоста начинал на полу и на канаве создавать замечательные живописные творения. Это приводило моего маэстро, у которого, видимо, не было ни малейшего пристрастия к этому жанру живописного искусства, в ярость. Я убегал во двор, но там мне приходилось, пожалуй, еще хуже. Громадный кот необычайно почтенной наружности давно уже выражал недовольствие моим поведением, и теперь, когда я, впрочем весьма неловко, попытался стащить у него прямо из-под носа лакомый кусок, который вышеуказанный кот как раз намеревался слопать, он мне без дальнейших околичностей закатил такие пощечины с обеих сторон, что я оказался совершенно оглушен и из моих ушей хлынула кровь.

Если я не ошибаюсь, сей достопочтенный господин приходился мне дядюшкой, ибо черты Мининой физиономии проглядывали и в его внешности, а фамильное сходство усов – его и Мины – невозможно было отрицать... Короче говоря, я повторяю, что я в ту пору чуть было не превзошел себя по части всяческих шалостей, так что мой маэстро сказал: «Я прямо-таки не знаю, Мурр, что с тобой творится; вероятнее всего, что ты теперь вступил в отроческий возраст и посему озорничаешь, как малолетний правонарушитель!»

Маэстро был прав, это была моя роковая пора дерзновенности, которую я должен был во что бы то ни стало преодолеть, следуя дурному примеру людей, которые, как уже сказано, ввели в жизнь это ужасное состояние, обусловленное якобы некими заповедными глубинами их природы. Этот период они называют отроческим или годами озорства, хотя, вообще говоря, некоторые до гробовой доски не выходят из этого состояния; что же касается до нас, котов, то у нас может идти речь всего лишь о недолгих неделях озорства, и я, со своей стороны, вышел из этого положения раз и навсегда сильнейшим рывком, который мог стоять мне лапы или нескольких ребер. Собственно говоря, я выскочил из недель озорства самым стремительным образом.

Я должен рассказать о том, как это случилось.

Во дворе дома, где была квартира моего маэстро, стояла некая машина на четырех колесах с чрезвычайно богатой обивкой внутри: это была, как я впоследствии узнал, английская коляска. Естественно, что мне, в моем тогдашнем состоянии, мгновенно пришла охота вскарабкаться на эту самую машину и забраться затем глубже, в самое ее нутро. Я нашел подушки, находящиеся там, настолько приятными, настолько влекущими и притягательными, что с этих самых пор большую часть своего времени проводил, подремывая, в упоительно-мягких недрах сего экипажа.

Сильный толчок, за которым последовал какой-то треск, дребезжание и дикий шум, разбудил меня в тот самый миг, когда перед моим умственным взором проплывали сладостные видения: мне мерещилось жаркое из зайца и тому подобное.

Кто опишет мой внезапный ужас, когда я уразумел, что вся машина с оглушающим уши грохотом покатила куда-то, увлекая с собой и меня, катающегося по стеганым подушкам. Все возрастающий и возрастающий страх превратился в отчаяние, я решился на отчаяннейший прыжок – наружу – из недр этой машины; я слышал издевательский хохот адских демонов, я слышал их варварские голоса: «Кошка... кошка, у-лю-лю!» Голоса эти пронзительно визжали, а я, безумный, понесся напрямик. Камни летели мне вслед, пока я наконец не попал в какое-то темное сводчатое помещение, где и свалился без чувств.

Наконец я услышал, как кто-то расхаживает взад-вперед над самой моей головой, и заключил по звуку шагов, ибо мне, пожалуй, уже некогда приходилось слышать нечто подобное, что я, по-видимому, нахожусь под лестницей. Именно так оно и было!

Когда же наконец я выкарабкался оттуда, о небо! – тогда передо мной протянулись во все стороны необозримые улицы, великое множество людей, как на грех решительно мне незнакомых, шло мимо меня. Если еще прибавить к этому, что оглушительно громыли экипажи, громко лаяли собаки и, более того, что в конце концов целая орава людей, сверкая оружием на солнце, заняла улицу во всю ширь, так что на ней стало совсем тесно, а почти рядом со мной совершенно внезапно и пугающе кто-то стал бить в большой барабан, так что я невольно подпрыгнул на три аршина вверх, о да, разумеется же, грудь моя исполнилась глубочайшим ужасом. Вот тут-то я и заметил, что нахожусь в самом средоточии людской толчеи, в том самом мире, на который я взирал издали, с моей крыши, из прекрасного далека, взирал с тоскою и любопытством, да, и вот теперь посреди этого мира я и застыл, как неискушенный чужеземец.

Из осторожности я прогуливался вдоль улицы, держась поближе к стенам домов, и повстречал в конце концов нескольких моих юных единоплеменников. Я остановился и попытался вступить с ними в беседу, но они ограничились тем, что оглядели меня сверкающими своими глазами и отправились вприпрыжку дальше. «Легкомысленное юношество, – подумал я о них, – ты не знаешь, кто был тот, кто повстречался тебе на пути! – вот так великие умы проходят по свету, никем не узанные и никем не замеченные. Но таков уж удел любого мудреца в нашей земной юдоли!» Ну что ж, рассчитывая найти большее участие в людях, я вспрыгнул на заметно выступающий выход из погреба и стал издавать приветливое и, как мне казалось, манящее мяуканье, но до чего же холодно и безучастно, с каким безразличием, едва взглянув на меня, все проходили мимо. Наконец я увидел хорошенького, беленького, кудрявого мальчугана, который глядел на меня дружелюбно и вскорости, пощелкивая пальцами, воскликнул: «Кис-кис!» – «Прекрасная душа, ты понимаешь меня», – подумал я, спрыгнул вниз и приблизился к нему, дружелюбно мурлыкая. Он стал гладить меня, но, когда я уже полагал, что могу всецело предаться приятному чувству наслаждения, злобный мальчишка так ущипнул меня за хвост, что я взвыл от ужасающей боли. Вот это-то самое, видимо, и обрадовало до чрезвычайности этого юного, но коварного злодея, ибо он громко рассмеялся, крепко схватил меня и попытался повторить свой адский маневр. Тут мною овладела невероятная злость, и, воспламененный чувством мести, я выпустил когти и стал так царапать его руки и лицо,

что он, завизжав, отпустил меня. Но в этот миг я услышал крики: «Тирас – Картуш – ату, ату его!» – И с громким тьяканьем две собаки понеслись за мною вслед. Я бежал что есть духу, они настигали меня по пятам – нет, спасение было невозможно! – Невзвидев света от ужаса, я влетел в окно цокольного этажа, так что стекла зазвенели и несколько цветочных горшков, стоявших на подоконнике, с грохотом полетели в комнату. Женщина, работавшая за столом, вскочила с криком: «Глядите, что за отвратительная бестия!» – схватила палку и напустилась на меня. Но мои глаза, пылающие гневом, мои выпущенные когти, тот вопль отчаяния, который я испустил, – все это удержало ее от дальнейших действий; таким образом, как говорится в прославленной трагедии, палка, занесенная для удара, застыла в воздухе, и женщина тоже окаменела – явная фурия, несомненная злодейка, но безвольная и в полнейшем изнеможении!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.